SHOUT
SHARE
IT

- Афанасий Коптелов

Афанасий Коптелов
Дни и годы
(Из книги воспоминаний)

* * *

В 1927 году у меня вышла первая книжка. Ее выпустил Госиздат для детей среднего и старшего возраста. Она называлась «Васька из тайги».

На красочной обложке было оттиснуто А. Коптелёв. Владимир Яковлевич Зазубрин тот час же прислал шуточное поздравление с переменой фамилии. А по письму чувствовалось, что он рад моему первому шагу в Москве. И мне было чему радоваться, — книжку иллюстрировал гравюрами на линолеуме талантливый художник того времени П. Староносов. Этим исчерпывалась, как мне теперь думается, известная ценность издания, добавлявшего автору уверенности. Но рассказ этот я ни разу не переиздавал.

Сибирь оставалась деревянной. Я помню ветхие избы, сгоношенные без единого гвоздя, без пилы и рубанка. Лишь одним топором.

Полы и потолки в них были из тесаных бревен, крыши — из дранья. Даже дверные навесы мастерились из дерева. Шли века, а железо оставалось мечтой, зародившейся еще в каменном веке. Мечта согревала легенды и сказания. Одна из шорских легенд о богатыре Ак-Кая, в переводе Белая Гора. То был первый кузнец на весь огромный край. Великан брал раскаленный камень одной рукой, а другой бил по нему, как молотом, и превращал в железо. Поиски древних рудознатцев привели к Тельбесу, богатейшей горе, сложенной из черного золота. Древние металлурги плавили ту руду и железными изделиями одаривали земледельцев и лесорубов. Потому-то первые русские землепроходцы и назвали край Кузнецким.

В середине двадцатых годов индустриализация Сибири из мечты начала превращаться в реальные планы.

В то время очеркисты много писали о железорудном Тельбесе, о будущем строительстве Кузнецкого металлургического гиганта, которому предстояла громадная роль в преображении края, а потом и в защите Родины. И я попытался представить себе, как в недалеком будущем завод вломится в

лесную глушь, в косную кержацкую среду, и какой разлом произойдет в патриархальных семьях. Молодежь потянется к зареву новых огней, уйдет на завод, а несгибаемые приверженцы старины ринутся дальше в непролазную лесную глушь. Из них останется с молодежью один старик, с юности познавший неимоверные тяготы крестьянской жизни без железа, без единого гвоздя в хозяйстве. И над всем краем засияет сказочный огонь богатыря Ак-Кая. Так сложился у меня рассказ «Черное золото».

Мой старший друг, близкий к редакции «Сибирских огней», Кондратий Урманов в откровенном письме упрекнул меня в «спекулятивности» избранной темы. Упрек был незаслуженный. Мне хотелось в какой-то степени подогреть внимание читателей к индустриализации края, хотелось заглянуть в завтрашний день заводской жизни. Это не удалось, — не хватило ни знаний, ни красок. Но я в меру своих сил того времени все же сделал скромный вклад в новую тему.

В редакции журнала рукопись проходила с осложнениями. У меня сохранилась обложка. В левом верхнем углу надпись, сделанная синим карандашом, рукой В. Итина: «Возвратить». Несколько ниже черным карандашом: «В № 4».

И подпись: «В.З. 30.V.26.». Владимир Зазубрин в ту весну собирался в длительную поездку по Алтаю и Монголии, для заместителя оставил надпись зелеными чернилами: «Почистить. Вегман и я за. В.З. 5. VI.26». В Бийске Владимир Яковлевич остановился на несколько дней, меня он обнадежил:

— Ваш рассказ идет в пятой книге.

Это подтвердил В.Итин последней надписью на обложке:

«Повесть намечена в № 5. Просьба обработать. Недостатки: слишком длинно. Слог: неужели Вам не надоедает без конца поворачивать глаголы в конец фразы? (По-немецки, у Сейфуллиной это хоть ритмом оправдано). Авторская корректура неряшлива. Словечки есть такие, что и со словарем не поймешь. (Недавно в «Новом мире» появилась обстоятельная статья против этой заразы) Надеюсь, справитесь».

Замечания уже тогда мне показались правильными. Но «повернуть глаголы» и выполоть словесные сорняки я не мог: для этого пришлось бы с новыми требованиями переписать все от первой строчки до последней. Это мне в то время было непосильно, да я и не успел бы к пятой книге, для которой уже предназначен рассказ.

Выполняя пожелание редактора, я смог только «почистить» текст.

Рассказ появился в номере 5–6. В газетных обзорах его заметили.

Отзывы были разноречивые. В «Советской Сибири» писали: «Рассказ А. Коптелова значителен по теме и ставит себе животрепещущие по своему общественному интересу задания. Как можно догадаться, Коптелов имеет ввиду Тельбес, но тема его рассказа шире. Коптелов стремится показать первые шаги индустриализации в Сибири и изменения, вносимые им в окружающую жизнь, в первую очередь и главным образом в среду окрестного крестьянства». В томском «Красном знамени» отмечали: «Твердо и уверенно, без фальшивых слов и красок выдержана в реалистических тоннах борьба пашни с заводом, с черным золотом. Победа черного золота покрывает последние страницы рассказа спокойной улыбкой радости за новую жизнь, за новые настроения нового бытия». Строже оказалась омская газета «Рабочий путь»: «У Коптелова неприятно поражает, — упрекали там, — «сугубо мужицкий» язык его героев, все эти многочисленные «чо» и «ничо». Обращение к местной сибирской лексике того времени я считал необходимым для народного колорита, но по неопытности употреблял местные речения с излишней щедростью.

Адриан Топоров прочитал рассказ коммунарам. «Майского утра», и они тоже упрекнули меня в засоренности повествования местными речениями, но недостатки отметили гораздо точнее: инженеры, появившиеся на строчке, вскоре же исчезли из повествования. Сказало верно. А произошло это потому, что я не знал среды технической интеллигенции.

Подбодренный все же добрыми словами, я присоединил к «Черному золоту несколько ранних рассказов и отправил рукопись в Госиздат. Там отнеслись со вниманием. Строгий критик Елена Феликсовна Усиевич, редактор художественной литературы, написала мне: «Книгу «Черное золото» постараемся сдать в производство при первой возможности, и надеемся, что осенью она выйдет в свет». Оформили договор. Но из-за «острого бумажного кризиса», как объяснили мне, выпуск книги отодвинулся. Тем временем было решено в Госиздате выпускать только классику и рукописи о современности передали в издательство «Земля и Фабрика». А там было достаточно своих авторов. Ко мне редакторы, занятые изданием собраний сочинений современников, предпринятыми, как мне казалось, преждевременно, отнеслись неприветливо. Сославшись на недостаток бумаги, рукопись возвратили.

Огрехов в ней было немало, и я через годок, занятый иными темами, перестал сожалеть о несостоявшемся издании.

Мне повезло: в наш город, проездом в Горный Алтай, прибыла альпинистская экспедиция Николая Петровича

Горбунова, управляющего делами Совнаркома. Он, крайне занятый государственными и общественными делами, в свободные минуты мечтал об отдыхе в горах, о чистейшем воздухе высоких вершин. Знал: Кавказские горы давно исхожены, снежные вершины там многократно покорены. Алтай же известен пока немногим. А там — Белуха, которую Николай Рерих, знаток Гималаев, считает «жемчужиной Азии». Понятно, не Эверест. Даже не памирский семитысячник. Но и нелегкая гора. В Сибири самая высокая. И красотой, говорят, превосходит многие прославленные вершины. А главное — малоизведана. Кроме профессора Сапожникова да еще двух томичей братьев Троновых, на Белуху никто и не покорял. Невозможно не испытать там альпинистского счастья. Это и привело Николая Петровича с добрым десятком спутников к нам в Бийск. Побеседовав с путешественниками, я написал о них в «Звезду Алтая». Хорошо бы присоединиться к ним. Николай Петрович не возражал. Но у них уже наняты ямщики. А мне еще нужно получить отпуск да собраться в такой далекий и трудный путь. Сапоги у меня, правда, есть, а где взять альпинистские кошки и ледоруб? Где раздобыть синие защитные очки?.. Но мне хотя бы у подножия побывать…

— Ну, что же… — Николай Петрович пожал плечами. — Если вам так хочется, приезжайте в Верхний Уймон. Найдете?

— Я там бывал.

— Вот как! Приезжайте. Там мы будем снаряжать караван верховых.

Получив отпуск, я занялся сборами: купил дождевик из жесткого бийского брезента; наскоро насушил сухарей и наполнил ими плотный темно-зеленый рюкзак, какими в свое время в избытке одаривала Британия колчаковских вояк; раздобыл простенькие синие очки в металлической оправе, непригодной — как узнал позднее — для горного солнца. Только не опоздать бы. И тут мне снова повезло — в Уймонскую долину отправлялся директор отделения Госторга с мешками серебра для закупки маральих пантов у кулаков-мараловодов (мараловодческих совхозов тогда еще не было). Он взял меня с собой, и мы, сидя буквально на мешках с серебряными полтинниками, помчались к Уймону. Я не опоздал лишь благодаря тому, что экспедиция задержалась в Усть-Кане, откуда Николаю Петровичу пришлось срочно возвращаться в Москву.

Это путешествие я описал в очерке «Горными тропами» («Сибирские огни» № 4 за 1928 год). Сейчас встают в памяти лишь отдельные эпизоды, как моментальные фотоснимки. Вот мы уже перебрались через снежный Катунский хребет, вброд

переехали через бурные притоки Катуни, полюбовались изумительным Тайменьим озером. Впереди нашего каравана едет Иван Егорович, широкоплечий старик с окладистой бородой. Ему уже семьдесят четыре, но он еще крепко держится в седле, а тяжелые вьюки укладывает ловчее и проворнее молодых ямщиков. Много лет он водил по этим горам профессоров и горных инженеров, знает все едва приметные тропы и броды через реки, несколько раз бывал и у ледника Геблера, куда мы держим путь. Я еду за ним, и он, повернув голову, рассказывает мне через плечо:

— Она, Белуга-то, слышь-ко, от людей прячется. Когда нет людей рядом — тумана нет, а люди приедут — все облаками затянется. Стыдливая, как невеста, что ли? Бывает по неделе, по месяцу живут рядом с ней, а на карточку снять не могут. Только уедут — морок весь уйдет. Вот каки чудны дела!

Мы седьмой день в пути. Добрались до верхней долины Катуни, порожденной Белухой. До горы остается километров двадцать пять. Впереди как бы сомкнулись два хребта, словно половинки занавеса.

В поднебесье плывут серые облака. А из-за гор огромными клубами подымается туман. Иван Егорович тычет плеткой в ту сторону:

— Смотри каку трубку закурила Белуга? Не везет вам. Белуга, слышь-ко, закурилась — ненастье будет долго. Нельзя в гору итти.

К реке подступила черная скала. Мы огибаем ее, и вдруг — немыслимое: горы расступились, будто распахнулся занавес и в долине вмиг посветлею. Впереди открылись две белые вершины со снежным седлом. И полетели в воздух фуражки:

— Ура-а! Вот она, красавица!

— Чиста работа! Точно ювелир гранил алмаз!

Садилось солнце за ближние вершины, и по вечным снегам пробежали розоватые отблески. И тут же красавица, как бы стыдясь наготы, надернула на себя серое облачное покрывало.

— Только и видели! — качнул головой Иван Егорович. — Завтра не покажется.

А она не показалась ни завтра, ни послезавтра. Несколько дней сыпался, словно через частое сито, дождик-бусун. А к утру у августа наш стан у ледника Геблера засыпало снегом. Будто навалилось октябрьское зазимье!

Выбрав короткий просвет между приступами ненастья, мы походили по нижнему полю ледника и на этом закончилось наше неудачное свидание.

* * *

Новосибирск становился литературной столицей края, простиравшегося в двадцатых годах от Урала до Забайкалья. Кроме «Сибирских огней», в нем издавался толстый экономический журнал «Жизнь Сибири». Не были забыты педагоги и дети: одни получали «Просвещение Сибири», другие — «Сибирский детский журнал», вскоре переименованный в «Товарищ». Были литературные отделы в кооперативном журнале, в «Красной сибирячке», в «Охотнике и пушнике Сибири», основанном Е.Н. Пермитиным в Усть-Каменогорске в 1923 году и через два года переведенном в Новосибирск. Выходил журнал «Книжная полка». А главное, издавал художественную литературу Сибкрайиздат, возглавлявшийся деятельным публицистом Михаилом Михайловичем Басовым.

Мечтой сибиряков оставался тонкий иллюстрированный журнал. И вот с 1-го февраля в Сибкрайиздате начал выходить такой ежемесячник под названием «Сибирь». Он составлялся заботливо и любовно. В нем печатались Вяч. Шишков, Исаак Гольдберг, Кондр. Урманов, Вивиан Итин, Петр Драверт, Георгий Вяткин. По одному рассказу дали М.Горький и К. Паустовский, проезжавший через Новосибирск. Помимо фотоснимков, журнал украшали гравюры талантливых художников-алтайцев Григория Гуркина и Николая Чевалкова. Широко пошел, как говорили тогда, «литературный молодняк», в особенности юные поэты: Леонид Мартынов, Иосиф Уткин, Михаил Скуратов. Систематически помещались краеведческие репортажи и очерки специальных корреспондентов из городов Дальнего Востока. Нашлась страничка и для моего очерка о первой в мире паровой машине Ползунова, модель которой являлась гордостью Барнаульского музея.

Читатели ждали журнал, тревожились, когда он запаздывал. И тревога оказалась не напрасной: ловкие люди вознамерились исподволь «прибрать журнал к рукам». В номере 7–8 появилось невнятное уведомление о том, что журнал передается из Сибкрайиздата в издательство газеты «Советская Сибирь». Там, дескать, он будет выходить регулярно. И два раза в месяц.

Естественно, журнал стал тощим и, хотя в нем появилось по одному рассказу М.Горького, Анны Караваевой и Вяч. Шишкова, вскоре захирел и на третьем номере тихо скончался. Как выяснилось позднее, не без умысла недругов художественной литературы. Ловкие люди говорили: мы, дескать, заменим «Сибирь» другим, остросовременным тонким журналом. И в январе 1928 года появился журнал под претенциозным названием

«Настоящее». На первых порах писатели обрадовались: в редколлегию нового журнала включены М. Басов и В. Зазубрин. При этом была надежда, что новоявленный журнал объединит все литературные и художественные силы края. Однако настораживало то, что в редколлегию входили пришлые люди, незнакомые с Сибирью. Их было двое — новый редактор краевой газеты И. Шацкий и работник крайкома ВКП (б) А. Курс, одессит, в молодости, как мне скажет позднее Эдуард Багрицкий, анархист, разгуливавший с револьвером в кармане. А в Новосибирске Курса поддерживал, работавший ранее в Одессе Сергей Сырцов, занимавший пост первого секретаря крайкома. Вскорости важный покровитель переберется в Совет народных комиссаров страны, пока его не выведут из ЦК за фракционную деятельность. Но при внимательном знакомстве уже первый номер журнала несколько ошарашивал. В программной статье «Наше направление» говорилось:

«Мы не хотим выдумывать ничего, кроме способов находить вас и факты вашей жизни. Вам надо сделаться хозяевами фактов, чтобы уметь их переделывать. Мы хотим вскрывать факты. Мы хотим сшибать факты лбами, чтобы они начали кричать: тогда мы узнаем, куда они ведут. Отражать мы хотим те факты, которые надо отражать, как нападение врага. Мы хотим корчевать тайгу мозгов».

Факты, факты, факты. Помешались на голых фактах. И все же были там добрые строки: «Мы хотим стать горнистами армии советских строителей: будить от сна, звать к действию, предупреждать о врагах — косности, лени, обыденщине. Отважных зачинщиков новых дел возвеличивать! От патриархальной Горной Шории — к Тельбесу!»

Редакция разослала приглашение к сотрудничеству. Получил приглашение и я. Не разобравшись до конца в «направлении», послал небольшую рукопись, о чем вскоре пожалел: рассказец был напечатан в изуродованном виде. Тогда же была там опубликована сумбурная вещица нашего бийчанина Семена Ламакина «Цветы общества», в которой автор неумно потешался над своим другом вчерашним кожевником, а к тому времени якобы «мрачно настроенном» Андрюшей Южаковым (читай Ильей Мухачевым), «сочиняющим пустяковые песенки и плаксиво воспевающим алтай-кижи», то есть алтайцев; потешался и над вторым своим другом, начинающим поэтом, якобы «представителем старого, выродившегося дворянства», живым и конфузным документом «старой святой русской интеллигенции» Володей Кальпериным-Свободным (читай Крапивиным, подписывающим свои стихи псевдонимом Владимир Свободный),

«ни на что не способным, кроме хроники в газету «Путеводная заря» (Читай «Звезда Алтая»). Автор не пощадил даже редактора этой газеты Ваню Кезычева (читай Ивана Зобачева), по которому «здорово ударил закон об алиментах», а закон этот — вот беда! — «Ване приходится хвалить в передовых». Для А. Курса, фактического редактора журнала «Настоящее», ставшего одновременно и редактором краевой газеты, это сочиненьице легло маслом на его мелкую, задиристую душу. Вот, дескать, посмотрите, какие они, сторонники «выдумочной литературы».

Но подлинное лицо закоперщиков новоявленного журнала открылось нам лишь спустя несколько месяцев, когда «настоященцы» сколотили при журнале так называемую «литературную группу» под тем же наименованием, состоящую из нелитераторов, и стали в печати кичиться тем, что под их «платформой» подписались такие-то и такие-то члены бюро Сибкрайкома ВКП (б). В окружных центрах «настоященцы» создали «группы содействия» тоже из нелитераторов и объявили, что в эти группы вошли такие-то и такие-то члены бюро Новосибирского, Иркутского и Барнаульского окружкомов партии.

Вскоре «настоященцы», отрицавшие художественную литературу, не только вознамерились «взорвать академию сибирской словесности» как они именовали ненавистный им журнал «Сибирские огни», но даже принялись «корчевать» классиков. «Не учитесь у Толстого», — требовал Курс в своем журнале (М. Басов и В. Зазубрин к тому времени вышли из редколлегии, печатно заявив об этом). Борьбу художественных форм он объявил классовой борьбой, а современных писателей огульно обвинил в том, что они якобы «зачастую работают на мелкую буржуазию, если не на нэпмана». Охаяв Алексея Толстого, «настоященцы» принялись за Горького: он, дескать, «не посвятил советской действительности ни единого произведения». А в размашистой карикатуре доморощенного художника, подпавшего под их влияние, заставили Пушкина стыдить Горького за неточность в одной из цитат. И объявили: «Живи Пушкин сегодня, он стал бы настоященцем». Одной разухабистой статейке дали хулиганский заголовок: «Почему Шолохов понравился белогвардейцам».

А. Курс в журнале советовал: «о целевой установке читайте в этом номере статью А. Поповой». Та разъяренная дама, будучи секретарем редакции журнала, начала охаивание литературы и литераторов исподволь: «Кустари-одиночки, писатели, продают свои творения ГИЗу, а он наводняет ими рынок». Охаивая один из романов, она писала о герое произведения: «На лбу набрякли

вены — Сергей работал». И тут же: «Я знаю одного невыдуманного Сергея. Он тоже очень много работает и ничего у него не брякнет на лбу, когда он работает, сколько я ни старалась рассмотреть». Для чего это сказано в статейке «Нашим противникам»? Знайте, какой Сергей покровительствует нам! И побаивайтесь! И далее — совет своим товарищам: «…до сих пор есть товарищи, которые думают одно, а делают другое. Они считают, что наших писателей нужно бить оглоблей, чтобы заставить их занять правильную позицию, но предпочитают делать это чужими руками. Не прячьтесь за чужие спины, не бойтесь замарать ручки, а честно и открыто скажите писателям, что вы о них думаете».

Сам Курс, маленький, плюгавенький, дорвавшийся до высокого кресла, не боялся «замарать ручки», — одну свою погромную статью о поэтах назвал «Кирпичом по скворешне», а первый советский роман Владимира Зазубрина «Два мира», удостоившийся внимания В. И. Ленина, поименовал «Кровяная колбаса».

В «Сибирских огнях» (книга четвертая за 1928 год) профессор Г.Круссер ответил на залихватские статьи: «Тов. Курс в статье «Кирпичом по скворешне»… с изумительной смелостью и беспочвеностью отрицает необходимость художественной литературы». «Кирпичи бросать легко, — продолжал профессор, — но все же надо смотреть, куда они падают». В сноске напомнил строку из учебника школ 1-й ступени: «Скворцы — полезнейшая птица, уничтожающая посевных вредителей». А в конце назвал статью попыткой «идейного разоружения пролетариата».

Страсти накалялись с каждым днем. И в переполненном профсоюзном клубе состоялся двухдневный диспут. Курс выступил с пространным докладом «Даем ответы на всякие мучительные литвопросы», изобиловавшем такими резкостями, что зал потребовали от председательствовшего:

— Призовите к порядку докладчика.

— К порядку! На площади ругаться можно.

Курс начал с того, что грубо охаял буквально всех русских классиков, произведения которых являются бесспорной мировой ценностью, гордостью нашего народа, любящего свою художественную литературу. Затем он принялся охаивать самых выдающихся, самых талантливых советских писателей. Молодых поэтов и беллетристов назвал «несчастными, загубленными». А закончил все тем же безапелляционным утверждением: «Художественная литература сегодня может развиваться только на основе литературы факта».

Напротив профсоюзного клуба было здание Сибгосоперы, единственного музыкального коллектива на всю Сибирь. И коллектива талантливого, неутомимо пропагандировавшего русскую и мировую оперную классику. «Настоященцы», переполняя галерку своими малограмотными молодчиками, пытались срывать спектакли, в особенности балетные. Им ведь и на сцене нужны были факты и только факты, а не какая-то «Спящая красавица».

Весной 1928 года Сибирский союз писателей готовил свой второй съезд, на который, кроме русских литераторов, были приглашены буряты, якуты и алтайцы, зачинатели советской литературы на их родных языках. Горький направил съезду большое, по-отечески теплое приветствие, которое было напечатано в «Правде». (Позднее мы с С.Е. Кожевниковым перепечатали его в сборнике «Горький и Сибирь», Новосибирск, 1961). Но в условиях травли, нагнетаемой «настоященцами», второй съезд (Горький называл его первым) не мог состояться.

К нам в Бийск приехал ближайший «подвижник» А. Курса, тогда еще редактор краевой газета «Советская Сибирь», и на совещании в редакции выступил с хвалебным докладом о «Настоящем» и настойчивым пожеланием создать группу содействия этому необычному журналу. На следующий день в газете появился отчет на две колонки. Вот передо мной пожелтевшая от времени вырезка. После изложения доклада поставлены строки: «С «Настоящим» не согласен т. Коптелов». Василия Семенова, сторонника художественной литературы и единственного коммуниста среди работников редакции, к тому времени уже не было в Бийске. Все мои товарищи согласились с докладчиком: «Настоящее» надо продвинуть», «Группу содействия необходимо организовать немедленно». Наш новый редактор Леонид Клевенский, давний сторонник «Лефа» повторяя А. Курса, пошел даже дальше докладчика, считая, что «нужны оргвыводы». Какие же? О них, кидая кирпич в скворешник, писал идеолог группы: глупых скворчат, дескать, нужно послать «ко всем чертям и собакам».

А потом примчался бойкий подручный Курса Алексей Панкрушин и снова собрал сторонников «Настоящего». На том собрании прозвучало безграмотное оскорбление: «Писателе — клопы. Наша беда, что мы до сих пор не изобрели против них порошка». Собрать литературный кружок в стенах редакции нам запретили. К счастью, «оргвыводов» не сделали, — мы остались на работе.

А где искать защиты от несправедливых обвинений? Естественно — в Союзе писателей. У меня сохранилась копия

письма, вернее просьба о помощи. Мы подписали его втроем — Илья Мухачев, Семен Ламакин и я. А чем могло помочь Правление Сибирского союза писателей? Оно и без того находилось в осаде. Зазубрина отстранили от работы, и он на все лето уехал на Алтай в далекую деревню Кутиху. Союз сибирских писателей доживал последние месяцы. И все же он, возглавляемый уже Вивианом Итиным, успел обратиться к писателям-сибирякам с призывом отображать современность, успехи социалистического строительства. «Никакие формальные достижения, — говорилось в обращении, — в наших условиях немыслимы без органического слияния художника с современной советской действительностью, с ее строительством и ее целями». Подписали все члены Правления, находившиеся в Новосибирске. Среди членов ревизионной комиссии стоит и моя подпись.

В этой накаленной литературной обстановке я, воспользовавшись отпуском, поехал в Москву. Там М.М. Басов, переведенный на работу в Госиздат, тотчас же позвонил секретарю Горького П.П. Крючкову и попросил доложить Алексею Максимовичу, что приехал сибиряк, который может рассказать о литературных новостях, и я в тот же день был принят Алексеем Максимовичем, остановившимся в квартире Е.П. Пешковой. Об этой встрече я писал неоднократно, в частности в книге воспоминаний «Минувшее и близкое» (Новосибирск, 1983).

25 июля 1929 года в «Известиях» появилась статья Горького, начало которой я видел на письменном столе великого писателя, «Рабочий класс должен воспитать своих мастеров культуры». В ней, в частности, было сказано: «Редактор «Советской Сибири», краевой газеты, Курс — бывший анархист, как мне сказали, организовал гонение на художественную литературу и один из его сторонников, некто Панкрушин, заявил, что «художественная литература реакционная по своей природе». С моей точки зрения — не цеховой, а с точки зрения человека, который лет 50 наблюдал и до сего дня наблюдает революционно-воспитательное значение литературы, — Панкрушин не только малограмотный парень, а человек, которого я считаю вправе назвать бессознательным «вредителем» в области культурной работы».

В Новосибирске эта статья вызвала яростный взрыв. На первой странице «Настоящего» было крупно набрано: «правая выходка Горького в «Известиях» от 25 июля». Дальше — резолюция собрания журналистов, которых науськали те же «настоященцы». В ней говорилось: «Горький все чаще и чаще становится рупором и прикрытием для всей реакционной части советской литературы.

И это не все. Ошибки усугублялись. В ноябре на пленуме Сибкрайкома

ВКП (б) Р.И. Эйхе в заключительной речи заступился за «настоященцев», назвав их политическую линию «совершенно правильной» и упрекнул лишь за «слишком визгливый тон», да и то с оговоркой «возможно».

«Настоященцы» настолько обнаглели, что поместили в журнале стихотворное «Письмо неизвестного (несуществующего, — А. К.) поэта Иосифа Киселева известному писателю Максиму Горькому». В нем такие строки:

> Но я не жду от вас ни дружбы, ни услуг:
> Какая дружба между мной и вами?

А дальше уже совершенно оскорбительное:

> И вы — нам нечего греха таить
> — Порой восторженно недопустимо,
> Как мать, готовы нежить и любить
> И подлецов, и херувимов.

Обо всем этом 30 сентября 1929 года я рассказал Горькому в большом письме, которое хранится в его Архиве. А в моем архиве — копия. К письму приложил вырезки из краевой газеты, которую продолжал подписывать А. Курс.

Такая левацкая возня, направленная на художественное разоружение народа, не могла дальше продолжаться, и 25 декабря 1929 года Центральный комитет партии принял постановление «О выступлении части сибирских литераторов и литературных организаций против Максима Горького». В этом постановлении нападки на великого писателя были названы «грубо ошибочными и граничащими с хулиганством». Фракции ВКП (б) «Сибирского Пролеткульта за ее участие в вынесении резолюции с хулиганскими выпадами против тов. Горького» был объявлен строгий выговор, редакции «Настоящего» поставлено на вид, Курс отстранен от редактирования журнала и от обязанностей редактора газеты «Советская Сибирь», а Сибкрайкому предложено «усилить руководство литературными организациями» и «обеспечить наряду с решительной борьбой против буржуазных течений в литературе исправление «левых перегибов в линии и деятельности литературных организаций».

Нелицеприятный журнальчик канул в Лету. Группа «Настоящее» распалась. Курс через некоторое время был

исключен из партии. А наш Леонид Клевенский покинул Бийск.

Но, к удивлению, нашлись добряки, склонные отыскать в «Настоящем» нечто положительное. Так в 1968 году «Краткая

литературная энциклопедия» в заметке о недоброй памяти журнальчике утверждала, что он будто бы «Сыграл известную роль в развитии очерковой литературы в Сибири». Нет, никакой роли в этом отношении он не сыграл. В нем не было ни единого художественного очерка. Печатались только посредственные репортажи да разносные и клеветнические статьи. Просто у «настоященцев» не было подлинно литературных сил.

К чести писателей-сибиряков нужно подчеркнуть, что они, преданные художественному слову, нужному народу, стойко выдержали трудную борьбу. Они продолжали служить пером стране. Именно в это время партизан Петр Петров писал роман «Борель» о восстановлении золотых приисков и труде золотодобытчиков, Ефим Пермитин создавал свой второй роман «Когти» о классовой борьбе и проблесках новой жизни в Горном Алтае, Исаак Гольдберг готовил свое лучшее прозаическое произведение «Поэма о фарфоровой чашке» — о тружениках фарфорового завода в Восточной Сибири, большой знаток севера Михаил Ошаров приступил к созданию романа о жизни эвенков «Большой аргиш», Вивиан Итин главу за главой писал очерковую книгу о людях, осваивавших Арктику — «Выход к морю», а зачинатель советской литературы на алтайском языке Павел Кучияк слагал стихи о советской нови. Почти все эти произведения вскоре же привлекли к себе доброе внимание Горького. Художественная литература в Сибири набирала силы, совершенствовала мастерство.

* * *

Мой путь в литературу облегчался благодаря доброте и заботам Владимира Яковлевича Зазубрина. В связи с пятилетием журнала «Сибирские огни» он писал о моих плюсах и минусах:

«Коптелову деревня намяла шею. Деревня для него — бычье ярмо. Если бы смог человечьим языком заговорить яремный бык, он заговорил бы, вероятно, с коптеловским упорством о пользе машин, о светлой и освобождающей роли фабрик и заводов.

Коптелов умеет ненавидеть. Темную, суеверную, сытую и косную деревню писатель не щадит. Но творчество его не мрачно. Коптеловское отрицание свежо, убеждающе и светло, как его глаза и лоб. Коптелов не только отрицает, но и обладает редкой способностью утверждения.

Технически писатель слаб. Но ведь он молод».

И несколько ниже: «…Гольдберг и Итин делают свои вещи из меди. Но они делают свои вещи. Коптелов же пока только подымает самородки».

Владимир Яковлевич был глубоко прав. Надеясь поднять новый самородок, притом увесистый, я после этих добрых, хотя и суровых слов, рискнул взяться за роман. Задумка была смелая, сложная. Мне хотелось показать жизнь и классовую борьбу в сибирской деревне на пороге великих перемен. Вспомним начало двадцатых годов. Емельян Ярославский, с именем которого связано становление журнала «Сибирские огни» называл кольхозы (так писали в 1922 году) «зародышами коммунизма в сибирской деревне». То были преимущественно коммуны. У нас они оказались в более трудных условиях, чем в европейской части страны. Там «многие коммуны, — писал в первой книге журнала Емельян Михайлович, — организовались в бывших помещичьих хозяйствах, получив готовый живой и мертвый инвентарь и усадьбы. Коммунам Сибири приходилось начинать сначала, все своими руками создавать». Вот мне, бывшему коммунару, и хотелось показать, как в моей родной Алтайской губернии зарождались коммуны, как лучшие из них прошли через множество труднейших испытаний и стали, по словам того же Емельяна Михайловича, «коммунистическими огоньками на новых полях, обрабатываемых коллективным трудом». Название напрашивалось само собой: «Новые елани». Так у нас на Алтае называли просторные поляны в лесах.

Отправил рукопись, и Вивиан Итин отозвался быстро:

«Афанасий Лазаревич!

Роман я Ваш еще целиком не прочитал, но убедился, что вещь выдающаяся. С № 2, надеюсь, будем печатать листа по 4, значит до конца года.

Два слова о недостатках (Вам бы надо, ради прозы, поучиться стихи писать или каждый день читать «Египетские ночи» Пушкина).

Заглавие надо изменить. «Новые елани» (новые елани, новые лани), — в звуковом отношении заглавие должно быть безукоризненным. Да и по теме ведь это — мечта о машине… Ну, есть, конечно, лишние слова в отдельных фразах (довольно часто): «Веки глаз», «камнем давила».

Впрочем — поздравляю.

В. Итин».

Через месяц пришла вторая открытка: «Новые поля» — если не возражаете. Елань — слово не сибирское, а рязано-тамбовское какое-то, липкое, как мед».

Вивиан Азарьевич ошибся, — даже Даль слово елань считал сибирским, а вот с тем, что соседство двух гласных, отягощают фразу и, главное, сливающихся в один звук Е (новые елани) нельзя было не согласиться. И вторую книгу журнала 1929 года открыли моим романом «Новые поля». В первой части действие развертывалось в селе Черновом (от слова чернь, как называли у нас тайгу). Для описания его окрестностей я воспользовался своими юношескими впечатлениями от нашего села Залесово, а также рассказами Зинаиды Ивановны о таежной Васильевке, где она учительствовала. Для образа главного героя Ефима Залесова мне пригодились тоже ее рассказы о хозяйке дома, в котором она жила. Но основным прообразом явился Иван Карпович Попов, мой старший товарищ по драматическому кружку, коммунист, организатор первой в нашей волости коммуны «Крепость». Я взял эту коммуну в роман с ее подлинным наименованием.

Так же, как Федор Кузьмич из Васильевки, Ефим Залесов попал в плен к немцам, и там его отдали помещику. Работая в имении, Ефим восторгался машинами и перенимая новинки сельскохозяйственного производства. Вот бы перенести все это в Сибирь! В машинах — силища! Они облегчают тяжелый земледельческий труд. Но машина недоступна среднему крестьянину. Да и тесно ей будет на маленьких полосках. Она потребует простора. Как же быть? А если мужикам — сообща? Так он пришел к мысли о коллективном владении машинами на обновленной земле. Возвратившись на родину, он после Октября услышал о коммунах и загорелся этим новшеством:

вот где выход! Необходима коренная ломка всей деревенской жизни. С такими светлыми думами он и входит в роман.

Для первой части я, пожалуй, поднял самородок. Тут помогло знание крестьянской среды и, в особенности, природы Сибири. Вероятно, это и расположило к себе редколлегию журнала, в которую тогда входили такие требовательные знатоки художественного слова, как поэт и прозаик Вивиан Итин, поэт А.П. Оленич-Гнененко и критик А.А. Ансон, возглавлявший Сибкрайиздат. Спеша порадовать читателей новью, они закрыли глаза на то, что «самородок»-то еще не очищен от земли и мусора, налипшего со всех сторон.

Работа над второй частью оказалась гораздо сложнее, Тут в моем забое, как мне видится сейчас, оказался пустой песок. Сколько ни промывал его на самодельной бутаре, не намыл золотин. В этой части — кулацкое восстание 1921 года, охватившее несколько восточных волостей нашего Барнаульского уезда. Для ликвидации восстания губернская чрезвычайная пятерка направила особого уполномоченного. Я, относительно

грамотный деревенский паренек (я даже умел печатать на машинке), был его секретарем и многие драматические события происходили у меня на глазах, опираясь только на свои впечатления, я для романа не сумел вскрыть политические корни контрреволюционного выступления, затеянного, как мне стало ясно позднее, эсерами. Выражаясь словами В.Я. Зазубрина, я оставался «технически слабым».

А время было сверхсложное, борьба ожесточенной. В упомянутой выше статье Е.М. Ярославский отмечал: в Томском и Мариинском уездах «в самый разгар страды коммунары должны были взяться за винтовки, 58 коммунаров этих уездов погибло в борьбе с белобандитами». Примерно так же было и в нашем Барнаульском уезде.

Первая часть романа увидела свет ранней весной. Моя радость была бесконечной, и я нетерпеливо ждал продолжения. В каком виде дадут более острую вторую часть? Не сократят ли важные, на мой взгляд, абзацы?

* * *

Сегодня почта доставила третью книгу «Сибирских огней?» Там продолжение моего романа, о котором заранее было сказано в журнале: «Коптелов написал роман, отражающий вопросы коллективизации», а в печати появились строки: «Сибирские писатели все ближе и ближе подходят к современной действительности, а наиболее передовые и активные из них уже серьезно работают над вопросами нашего социалистического строительства. Они не только на словах, но и на деле, своими произведениями доказывают это».

Мое имя среди «передовых и активных» стояло первым. В двух номерах журнала опубликована половина романа. И вдруг закавыка: в конце второй части нет пометки: «Продолжение следует». И последней поставлена куцая главка из нескольких строчек. Значит вторая половина романа не увидит света? А ведь там апофеоз повествования — в коммуну приходит трактор! Победа нового дела! Народное торжество! Почему же так обкорнали произведение, которым хвалились, когда рукопись лежала на редакционном столе? Чьи тут козни?

Съездить бы в Новосибирск и разузнать все, но меня направляют на хлебозаготовки редактором выездной газеты «За колхоз!» Пора собираться в дорогу. В типографии завтра упакуют наборную кассу со шрифтом и тискальный станок. Сегодняшняя встреча, если она состоится, будет прощальной, быть может, на

целый месяц, пока округ не выполнит план хлебозаготовок.

* * *

Добротные брички выехали со двора типографии. Невиданные в Бийске. Двуконные, с дышлом. Такие в ту пору бывали только у артиллеристов. И лошади, ухоженные, и сбруя новенькая.

— Все подарочное, — сказал мне возница, молодой парень в буденновке, в поношенной шинели, подпоясанной веревкой. — Шефы дали. Из своей антилерии. В наделок солдатам после увольненья. Они пожелали не домой, а к нам в коммуну. Много всего дали. Бот и мне, — шевельнул плечами и улыбнулся, словно только что получил подарок, — сгодилась шинелька.

Я сидел на передней подводе, на объемистом тюке бумаги. На второй бричке, полуобняв упакованный тискальный станок, ехал комсомолец Толя Захаров, мой помощник по редакции выездной газеты «За колхоз!» Рядом с ним пожилой наборщик Пузырев, которому предстояло также выполнять работу верстальщика и тискальщика. Для нас тоже прислали поношенные шинели, будто мы отправлялисъ не в обычную командировку, а на фронт. Хлебозаготовки тогда, в самом деле, уже начали сравнивать с фронтом.

Как же это могло произойти? Ведь был же нэп. Отчего такая перемена?

Известно, что нэп, когда разорительная и зачастую несправедливая продразвестка была заменена продналогом, дал быстрый взлет сельского хозяйства во всей стране. Газеты и журналы, подбадривая, писали об образцовых крестьянских хозяйствах. На многочисленных выставках их щедро одаривали премиями. Кредитные товарищества в волостных селах бойко торговали сельскохозяйственным инвентарем: древние сохи всюду заменили плугами, которые изготавливали, в частности, в Омске на заводе, когда-то принадлежавшем датчанину Рандрупу.

У нас в Бийске открыли беконный завод, продукцию которого продавали в Англию. В Бийске же построили маслобойный завод, изготовлявший превосходнейшее кедровое масло, я бы сказал, затмевавшее прославленное оливковое. Помню, перед пристанью в ожидании отправки на экспорт просторная прибрежная площадь была заставлена особыми бочонками сливочного масла. Эту отличную тару изготовляли со времен деятельного Сибирского союза маслодельных артелей, правление которого находилось в Кургане. А в 1925 году мне довелось видеть даже в небольшой

деревне Ая (неподалеку, от нынешнего Горно-Алтайска) принадлежавший кооперативу сыроваренный завод, в погребах которого выдерживались до полного созревания огромные, как жернова, круги знаменитого на весь мир русско-швейцарского сыра. На базарах и ярмарках рядами стояли сани с мукой и крупой, с тушами свинины и говядины, с замороженными кругами топленого масла, с бочками, полными ароматного меда. Покупатели шли по рядам, пробовали муку и крупу, придирчиво выбирали мясо, тушки гусей и уток. Словом, было полное изобилие. И были «твердые» деньги — червонцы, обеспеченные золотом. Были широко в ходу серебряные полтинники. Куда же все успело исчезнуть? Как возник хлебный кризис, приведший к карточной системе?

Вводя нэп, Ленин 23 декабря 1922 года докладывал II-му Всероссийскому съезду советов: «…эту политику мы проводим всерьез и надолго, но, конечно, как правильно уже замечено, не навсегда». (Том 44, с. 311). Сталин, ссылаясь на последние два слова, поспешил начать демонтировать нэп. По своему характеру, действовал неукоснительно. И кризис, о котором умалчивали, надвигался все ощутимее и ощутимее.

Все это я говорю сейчас, с высоты конца восьмидесятых годов. А в двадцатых годах нам, молодым журналистам, настойчиво внушалось:

«Сталин — это Ленин сегодня», и мы свято верили в Сталина, в его непогрешимость, в его прозорливость. Правда, иногда доводилось краем уха слышать крамольные слова о якобы существующем «ленинском завещании» А в чем его суть? Это оставалось тайной для всех, кроме делегатов XIII съезда партии, которым, как стало известно впоследствии, заветные письма Ленина, записанные стенографистками, были прочитаны только по делегациям. Эти письма находились под великим запретом. Впервые они, как известно, были опубликованы только после смерти Сталина, в журнале «Коммунист» за 1956 год.

Налоговый пресс на земледельцев возрастал. Более или менее зажиточных крестьян стали облагать дополнительным побором в порядке так называемого «твердого задания». И чем дальше, тем такие задания становились «тверже» и применялись неоднократно. По существу вернулась разверстка. Крестьянство ответило резким сокращением посевов. От досмотра зерно стали прятать в ямы. Коммуны же (сельхозартелей тогда еще не было) при нарушении личной заинтересованности в результатах труда не успели окрепнуть и не смогли восполнить недостаток хлеба. Страну нечем было кормить. Вот тут-то и возник «хлебозаготовительный фронт».

Дело так обострилось, что Сталину пришлось впервые отправиться не на юг для отдыха, а в Сибирь за хлебом. Он провел совещания, именуемые «накачкой», в Омске, Новосибирске, и Барнауле. Из Бийска в Барнаул были вызваны секретарь окружкома Осипов и председатель окрисполкома Громов, бывший прославленный командир партизанского корпуса. Я, газетчик, бывал у него еще в Новосибирском губиспол-коме, и мне он доверительно сказал, что Сталин проехал южнее Барнаула, в Кулунду, главную житницу Сибири, и там, кажется в Рубцовске, созвал местных работников — прокуроров и судей. И там в качестве решительной дубинки для их вооружения была названа пресловутая 107 статья Уголовного кодекса, первоначально предназначенная для борьбы со спекуляцией. Известно, что никто из земледельцев в ту пору спекуляций хлебом не занимался, просто запасливые хозяева придерживали зерно при незаконных «твердых» заданиях, но было рекомендовано против них применять эту дубину. Не это ли явилось первым беззаконием Сталина.

Повторяю, мы, газетчики, так не думали. Мы писали о действенности этой статьи в исключительных условиях «хлебного фронта».

В этой сложной обстановке и направили нас с печатным станком в село Марушку, где план хлебосдачи был выполнен всего лишь на тридцать процентов.

…В редакции нашей «Звезды Алтая» все сотрудники, кроме Василия Семенова, секретаря редакции, оставались вне партии. (И комсомолец у нас был один — Толя Захаров). Нас считали «беспартийными большевиками». Эта оговорка нам казалась временной, и первый шаг к вступлению в партию сделал я. Мне дали рекомендации пять старых большевиков, известных среди партийного актива своей требовательностью. Мое заявление на собрании ячейки типографии обсуждали долго. Взыскательные вопросы сыпались, казалось, без конца. Самый острый из них: «А почему в деревне ты, селькор, не вступил в комсомол?» В самом деле — почему? Ответить было нелегко. Если кратко: «Из-за ошибки молодости». За эту ошибку я осуждал себя добрых два десятилетия. А было так: родители, закоснелые староверы, не позволили мне учиться в школе. Там, дескать, «закону божию» учит поп, требует посещать никонианскую церковь, а это — великий грех. Нельзя поганиться. А то вырастешь еретиком. Но грамотность влекла меня к себе. Я уже бегло читал «Псалтырь» на старославянском языке. Даже — в кержацкой молельне. Бывало, ночами напролет читал ту же «Псалтырь», стоя возле гроба покойника. За это утром мне совали в руку три копейки, а иногда

— даже пятак. Это же капитал! На него тайно от родителей можно было купить «гражданскую» книжку в издании Сытина. Затем я прознал, что можно, тоже тайком от родителей, брать книги на прочтение в школьной библиотеке. Словом, нужно было, используя каждую минуту, свободную от тяжелейшего крестьянского труда, восполнять недостаток знаний, которые могла бы дать школа. И я ошибочно полагал, что участие в комсомольской ячейке будет отнимать у меня время. Пока я на собрании объяснял это, полился пот с лица. Меня поняли и приняли в кандидаты. Но радость оказалась преждевременной. Как раз тогда началось ограничение на прием в партию таких, как я, выходцев из крестьян. И это ограничение обрушилось на меня. Неожиданное решение бюро горкома, принятое заочно, заронило в сердце горечь на многие годы. К счастью, редактор полностью доверял всем нам. И в горкоме, и в окружкоме к нам, беспартийным газетчикам, относились со вниманием. И вот теперь мне доверено подписывать газету, которую мы будем выпускать в селе. Я понимал, что эта работа необходима для страны.

По крутому взвозу наш маленький обоз поднялся на высокое нагорье, над которым низко плыли тяжелые, словно свинцовые, тучи. Их гнал в волнистую степь промозглый ветер. Наступала самая хмурая пора года.

Еще не так давно эти поля, изрезанные бесчисленными межами, походили на деревенские одеяла, сшитые из разноцветных лоскутьев: красноколосая пшеница соседствовала с золотистым овсом, густо-зеленой коноплей и полосками черного пара. А минувшей весной этот простор землемеры отрезали только что созданному Первомайскому совхозу, и мощные трактора, купленные в Америке, перепахали межи, все полоски соединили в обширные массивы. Летом свежий ветерок, как морской бриз, гулял по необъятному пшеничному полю, как бы по медному листу, и выгибал ложбинки между мягкими волнами. Теперь тут щетинится густая стерня. Снопы свезены на ток и там сложены в красивые, будто точеные, скирды. Вон возле крайней, как бы тающей на глазах, скирды гудит железная громадина — заморская молотилка «Адванс». Мне довелось видеть ее вблизи: из черного жерла вылетает чисто обмолоченая солома. Будто орудие на боевом рубеже.

Фронт? Важнейший хлебный фронт! И Первомайский совхоз виделся мне одной из надежных крепостей. Но наш путь дальше. Там, в коммуне «Артиллерист», один из первых в этих полях форпостов социализма. Армейские шефы подарили коммунарам два трактора «Фордзон» Я видел их: маленькие, как железные

жуки, всего лишь с двухлемешным плугом, но главное — свои.

Сработанные в Ленинграде. Пока первые! Но будут, несомненно будут и другие, побольше и посильнее. От дум о близком будущем становилось веселее на душе.

Едем дальше. Возница показывает кнутовищем куда-то к горизонту, придавленному набухшими влагой косматыми тучами:

— Вон там наша коммуна. Дома из деревни перевезены. И амбары. И пригоны для скотины — все у нас есть.

Форпост в полях! Да, так начиналась жизнь первых коммунаров — выселялись из деревень, чтобы кулаки не совали палки в колеса, чтобы не баламутили народ. И чтобы всем быть вместе — изба к избе — на своей коммунарской земле.

А пока по обе стороны дороги — полоски марушкинских единоличников. Унылые остожья, обнесенные жердяной изгородью. Приземистые ометы соломы. Возле них похожие на норы закутки от ветров и дождей. Вон снопики конопли, составленные в бабки: хозяин, а вернее вдова-хозяйка не успела обмолотить — «обмолачивают» пестренькие щеглы. А вот совсем близко на широкой меже серая полынь, рассадник злостного сорняка. Убирая хлеб, ее нелегко отвеять. Вместе с зерном полынь попадает под жернов. Оттого и хлеб с горчинкой. И молоко у коров с горчинкой. И мне вдруг показалось, что ветер напахнул в лицо полынной горечью моего детства и юности.

Даже в наши дни, когда тяжелый крестьянский труд давно переложен на железные плечи машины, хлеборобы во время страды говорят: «Легкого хлеба не бывает». Верные слова! Но при этом нельзя не вспомнить — в былые времена крестьянам хлеб доставался во сто раз труднее, и для них пшеничное зерно было ценнее россыпи золотин.

Страда! Труд был равен страданию. Но в то же время он приносил радость — можно скоротать зиму, дожить до «новины», то есть до нового хлеба.

…Вижу себя пятилетним мальчуганом. В холщовой, стеганой на куделе лопотинке, которую к выезду в поле сгоношила мать; в мерлушковой шапке с подвязанными — в непогожую весеннюю пору — ушами; в холстяных портках, которые поддерживались не пуговицей, а жестким ошкуром, попросту — крученой веревкой. Я готов к выезду в поле? Это же редчайшая радость — буду бороноволоком! Отец подхватил меня под мышки и подбросил на высокий воз. Сам вскочил с вожжами в руках. Внизу воза — мешки с семенным зерном, поверх мешков сено для лошадей, а на самом верху деревянная борона с железными зубьями, воткнутыми в сено. Ее смастерил сам отец. Мы сидим на бороне.

В ногах у меня главная ценность — мешок с сухарями. Это «припас» на целую неделю. В упряжке старая Рыжуха, полученная отцом «в надел» от деда Михаила. В правой пристяжке старый Гнедко, подаренный отцу тестем Родионом. У Гнедка давняя болезненная шишка на правой передней ноге, и он с каждым шагом кланяется, будто просит пощады. Слева приплясывает игривый Ершик, сынок Рыжухи, еще не привыкший к хомуту. Все три коня будут впряжены в деревянную сибирскую соху с большим треугольным лемехом: мы — пахари! И еще у нас круглое лукошко. Отец повесит его на грудь и мерным шагом пойдет по вспаханному полю, бросит горсть зерна направо, шагнет вперед и кинет зерно налево.

Земельных наделов в нашем селе тогда еще не было, и землей пользовались «по праву» захвата. Сколько сумел захватить — все твое, только успевай обрабатывать. Пустил полосу в залежь — захватят другие, И все ближние и самые плодородные земли давно захвачены богатеями. Моему отцу тесть отдал несколько полосок своей ближней пашни. Этого нам мало. Пришлось захватывать целину за десять верст. Там возле полосы — шалаш, обложенный дерном, жалкое убежище от непогоды.

Перед шалашом — костер. Над ним греется в котелке вода. Когда заклубится пар, отец бросит в кипяток две горсти сухарей, сдобрит топленым маслом — еда готова. На завтрак, на обед — все та же сухарница. Быстро и нехлопотно. А в сумерки, бывает, некуда спешить — можно испечь в золе картошку. Объеденье!

Вот уже рассеяно зерно — пора боронить. Жеребую Рыжуху отец бережет и впрягает во вторую борону, в третью — Ершика. А передовым — спокойного Гнедка. Отец подбрасывает меня в седло, дает поводья:

— Начинай, благословясь. — И грозит пальцем, — Только не вздремни, а то свалишься под борону.

И я, понукнув Гнедка, веду первый след по краю полосы. Отец кричит вдогонку:

— Будешь дремать — привяжу к седлу веревкой. — И добавляет строже прежнего. — Целизны не оставляй. Держи след возле следа.

— Знаю, — отвечаю я. — Не маленький.

— Верно, парень! — слышу первую похвалу. — Ты у меня — большак! Лаврушка до бороноволоков не скоро дорастет.

Сделал круг, сделал второй. Отец лежит на меже с вилами в руках.

Встречает меня и, приподымая каждую борону за угол, выгребает из-под зубьев корневища пырея. И снова ложится на корневища, как на подушку.

Подымается солнце, в березовом перелеске умолкает тетеревиный ток и на какое-то время полями овладевает тишина. Воздух не колышется, и вдали разливаются обманные озера, как бы окруженные камышами. Я уже знал — никакой воды там нет, один обман.

И вдруг тонко-тонко зазвенел маленький колокольчик. Это не обман, — жаворонок поднялся с межи. Вон помахивает крылышками, все выше и выше. И звенит, звенит заливисто. Краше этого звона нет ничего на свете. Я, забывая о поводьях, слежу за его полетом, все круче и круче запрокидываю голову. Вот уже и крылышки не трепещутся, а он все подымается, будто его на невидимой ниточке подтягивают к небу. Вот совсем скрывается в синеве. Но продолжает звенеть. Тише и тише. Где же он? Надо обшарить глазами все небо, но найти его, обязательно найти.

А Гнедко, пользуясь тем, что его не беспокоят поводья, перестает кланяться и замирает у межи, где пробивается свежая травка. Отец вскакивает и, потрясая вилами в воздухе, кричит в нашу сторону:

— Афоньша, язви тя! — бросает свое самое сильное ругательство. — Чего в небо пялишься? След сбил, целизну оставил! Вот я тебя вилами отхлещу.

Я роняю голову от обиды — пропала небесная краса. Дергаю поводья, ворчу на Гнедка:

— Оголодал, шельмец! Все испортил. А отец-то и впрямь отхлещет вилами. Нас обоих.

Снова придерживаюсь прежнего следа, вздыхаю: «А жаворонок-то куда девался?» — Прислушиваюсь к тишине: не вспорхнет ли другой? Может так же зазвенит…

Я запрокидываю голову: набухшие тучи роняют тихие снежинки. От них звона не дождешься. И подаст ли мне снова голосок жаворонок моего детства?

Весенняя картина уступила место летней. В тот далекий год вовремя перепадали теплые дождики, и пшеница уродилась отменная: густая, высокая — взрослому человеку до пояса, а мне колосья выше макушки. На жатву приехала мать, привезла с собой двухлетнего Лаврика, вихрастого, беленького, как пушок одуванчика. Он будет жить с нами в шалаше.

— Пусть привыкает к пашне, — говорит отец, поправляя усы, тронутые улыбкой. — Мужик ведь!

Отец с матерью жнут без передышки. Почти не распрямляются. Я присматриваюсь к их рукам. Новенькие, блестящие серпы у них то и дело ныряют в густую толщу желтых

стеблей. А в левой руке отца все утолщается и утолщается горсть стеблей с тяжелыми колосьями. И каким-то чудом пальцы удерживают такую тяжесть, не обронят ни стебелька. Вот горсть уже полным-полна, и отец, ловко поддерживая колосья тем же серпом, откидывает на припасенный соломенный поясок. Туда же вторую, третью горсть. Отец прижимает стебли коленом и скручивает в сноп.

Мать старается не отстать от него. Но вдруг она распрямляется и начинает обеими руками растирать спину. И устало роняет слова, не охая и не жалуясь:

— Поясница онемела!

— Про скрипун забыла! — упрекает отец. — Сходи и сорви.

Мать идет на межу и приносит пучок травы с мясистыми листьями вокруг красноватых стебельков. Я мну пучок в руке, и листья, в самом деле, скрипят, словно им больно. Мать засовывает находку за пояс, прижимает к спине. Верит — полегчает от скрипуна. И снова наклоняется над серпом, но я успеваю перехватить его:

— Я сам! Буду сам…

— Тебе еще рано. — Мать отнимает серп. — На беду отхватишь палец. Не игрушка ведь.

— Вон Лаврику дай. Может, он совладает, — смеется отец и повертывается ко мне. — А ты, Афоньша, стаскивал бы снопы в один ряд да ставил в суслоны.

— Не под силу робенку, — заступается мать. — Да и ростом-то ниже снопа. — Она ставит сноп возле меня. — Гляди — до колосков не дотянется.

Я не хочу меряться ростом со снопом, подхожу к лежащему рядом:

— А этот утащу. — Пробую сдвинуть с места, но сноп будто врос в землю.

Да и без снопа едва-едва передвигаю ноги, — густая стерня выше пояса. Но я бодрюсь. — Вырасту — буду жать, как тятя. И сам суслоны ставить!

Солнце клонится к закату. Мать запрягает коня, кладет для него травы на ночь и уезжает в деревню. Ей тяжелее отца. Дома надо подоить коров, замесить квашню. Утром снова подоить коров, испечь хлеб и привезти нам калачей да простокваши. И опять — за серп. Удивительно, как она не сваливается с ног.

Мне не хочется ждать, пока подрасту. Могу и сегодня жать пшеницу. Как только мать отвернулась, чтобы завязать сноп, я схватил ее серп. Сейчас они увидят — могу! Левой рукой захватываю стебли и — раз! — срезаю одним махом. И второй раз и третий. Но горсть малая. Надо захватить побольше стеблей. Вот

так. Дергаю серп изо всей силенки. И, вскрикнув от неожиданной боли, роняю его в стерню. Кровь бежит струей.

— Доигрался, баловень! — Отец бросается ко мне, вот-вот даст затрещину. Но мать вовремя заслоняет меня, подхватывает на руки и быстро-быстро несет к меже.

— Сейчас, сейчас… — приговаривает на ходу. — Только чур не кукситься. Найдем добру травку — все заживет.

На меже она находит тысячелистик, пережевывает листья, отрывает лоскут от платка и приматывает к пальцу зеленую жвачку. Палец горит, словно охваченный огнем, но боль вскоре затихает. И кровь перестает капать.

— Тоже мне помощники! — ворчит отец и, распаляясь гневом, грозит матери серпом. — А ты — потатчица. Еще поплакала бы с ним. А его приструнить надо построжее.

… Очнувшись от раздумья, смотрю на средний палец левой руки: вот он, глубокий рубец! На всю жизнь!

Тихо покачивается бричка на мелких ухабах, словно убаюкивает, и передо мной опять встает давно минувшее.

Пути бед неведомы. И самая большая беда подстерегла нас на той же полосе. В тот день с утра дул порывистый ветер, и мама тревожилась за Лаврика. Не простудился бы. Лопотинка на нем, хотя и стеганая, а легкая. Перед уходом на полосу застегнула на нем все пуговицы, сказала, чтобы не выходил из шалаша. Даже припугнула — в березняке рыскают волки.

Страшные. Злющие. Я помнил: весной волки на выгоне разорвали четырех наших овец. Мать рыдала: «Останемся на зиму без пимов, без рукавичек. И приплода не будет. В страду — без мяса. Ой, горюшко…» Я знал: зимой волки даже в деревнях загрызают овец. Но так бывает ночами. Теперь — день. Волки не посмеют. А в березнике — костяника. Спелая. Красная. Принесу Лаврушке полную горсть.

Но рука то и дело тянется ко рту: уж больно сладкая костяника.

Не успел я набрать для Лаврушки ягод, как братик закричал. С визгом. С плачем. Родители, побросав серпы, бежали к стану. Отец, как всегда, хмурым молчком, а мама — с горьким криком. По лопотинке Лаврика уже вились огненные струйки.

— Ой, батюшки!.. Ой, ой, беда!.. — Мама сорвала с сыночка горящие лохмотья. — Потерпи, маленький, родненький…

Отец плескал водой из котелка.

Кучка золы, которую считали остывшей, разгребена детскими ручонка¬ми, и одурелый ветер раскидывал последние искры.

Нежная кожа Лаврика на руках и на грудке вздулась белыми

волдырями.

Братик, задыхаясь от боли, уже не мог плакать. Его завернули в холщовую палатку, повезли в село. Отец нахлестывал прутом Рыжуху, запряженную в оглобли. На пристяжках хромал Гнедко, запасной конь.

Дома позвали бабку-знахарку. Та принесла в бутылке «святой крещенской воды» и посоветовала опрыскивать больного. Но «крещенскую иордань» святил никонианский поп, и мать, захлебываясь слезами, толкнула ей бутылку обратно в руки:

— Не уж, матушка, поповской водой поганить робенка не буду. Пусть уж так…

Фельдшера у нас в те годы еще не было, а до соседнего большого села Сорокино считалось (никто ведь не мерял наши проселочные дороги) тридцать пять верст. Уставшая Рыжуха могла не выдержать дальней дороги. Отец запряг Гнедка и погнал его, хотя и тревожился: не запалится ли хромой. А далеко ли ускачешь на таком? Вернулся только на следующий день. А у Лаврика уже чуть слышно вырывался хриплый стон.

Мать, прочитав молитву, пудрила порошком тело ребенка, превратившееся в сплошную рану; стоя перед иконой «чудотворицы» взывала:

— Матушка-богородица!.. Заступница!.. Спаси и помилуй!..

Через три дня гробик с телом Лаврика отнесли на кержацкое кладбище, расположенное поодаль от православного, и мы отправились дожинать пшеницу. Мать вздыхала. Отец гневно молчал да нахлестывал Рыжуху, словно она во всем была виновата.

Страда всегда приносила радость — уродился хлеб. Но уж очень тяжким трудом доставался он. Одна тяжелейшая работа сменяла другую, только успевай управляться.

Недели через три зерно дозрело в суслонах, и снопы, словно увесистые слитки, свезены в остожье. Мать, вооружившись двурогими березовыми вилами, ловко подхватывает сноп за снопом и подает отцу на кладь.

Он прижимает сноп коленом и ждет второй; взглядом торопит: скорей, скорей!

Косо озирается на небо — не прихватил бы дождик. Еще скорей!

Богатые мужики оставят клади до морозов. По зимнему пути будут привозить снопы в деревню и, подсушив в овине, начнут на гумне обмолачивать цепами: тук, тук, тук! У нас нет гумна, и нам нужно в поле обмолотить до непогоды. А как? Легче всего: расстелить пшеницу по току и гонять-гонять лошадей, пока не

обтопчут зерно. Потом убрать солому в омет, а зерно веять, подбрасывая высоко деревянной лопатой: ветер отнесет полову и мелкие семена сорных трав. Остается только ссыпать зерно в мешки и отвезти в амбар.

Правда, в годы моего детства стали появляться кустарные молотилки, но в такую машину полагалось впрягать восемь лошадей. Где их взять? Да нужно было созвать на молотьбу два десятка баб и мужиков: бабы будут граблями (понятно, деревянными) вытрясать зерно из соломы, а мужики, подхватывая вилами, начнут укладывать ее в омет и отгребать зерно к веялке.

А нам нужно управиться до снегу: скорей-скорей провеять зерно и увезти домой. Только бы ветер дул, да поровнее — без порывов. Вот отец уже уехал с мешками, а я оставлен сторожить ворох, чтобы, не дай бог, не нагрянули воришки. Сижу у костерка, грею руки. Давно навалилась темнота. По дороге грохочут пустые телеги. По стуку их — много, — это богатые мужики спешат за хлебом на свои тока. А если воры? У нас заберут все. От них не отобьешься. Тогда нам — голодовка. Но вот постукивает одна телега. Прислушиваюсь: дребезжит плохо прибитая доска. Это — отец! Мы ужинаем так же, как весной, сухарницей с топленым маслом и заползаем до утра в нору, вырытую в соломе под ометом. Там не замерзнем…

…Бричка громыхнула в глубокий ухаб и раздумье, как легкий сон, покинуло меня. Смотрю по сторонам. Унылые поля!

Бесчисленные межи так же, как в дни моего детства, щетинятся горькой полынью, дикой коноплей да по-осеннему желтым пыреем. Вот пустое поле. Стерня высокая. Ясно, тут жали серпами. Единоличники, еще приверженные старине! Вон и шалаш такой же, как наш в давние времена. Рядом приземистый, придавленный дождями, омет соломы. Если поискать, то, вероятно, отыщется и нора для ночевки в морозную пору поздней страды…

В Марушку приехали к вечеру. Добротные дома, обнесенные дощатыми заплотами, беспорядочно раскинулись по берегам извилистой речки Чемровки, — кто где вздумал, там и захватил землю под усадьбу. На окраинах — приземистые, подслеповатые избушки бедноты.

В сельсовете мы застали уполномоченного райкома партии Сурикова. Он сообщил безрадостное:

— Советской власти здесь, можно сказать, нет: за два года сменилось пятнадцать председателей, — никто не может устоять. И, представьте себе, будто бы нет ни одного кулака. А они действуют через своих подручных. С хлебозаготовками все запутано: подавались ложные сводки. Секретарь сбежал. Важные

бумаги искурили сельисполнители. Ох, — тяжело вздохнул, — без взыскания мне отсюда, однако, не выбраться. Помогайте печатным словом.

Вскоре крепким армейским шагом вошел коммунар Белкин. В армейской гимнастерке. Через плечи — ремни. Садясь к столу, положил перед собой объемистую записную книжку. В ней, как я узнал позднее, записи стрельбы первого орудия батареи трехдюймовок по условным целям да уроки английского языка. Тут же цифры о росте коммуны «Артиллерист» и сводки хлебозаготовок по селу. И у меня отлегло от сердца: есть на кого опереться. Белкин раскрыл тетрадь:

— От коммуны выдвигаем в председатели Чистякова. Он у меня на бронепоезде замковым был.

— Дело! — Суриков повеселел. — На коммунаров да бывших партизан будем опираться.

— А первым делом нужно выяснить, кто съедал председателей, — продолжал Белкин. — Мне рассказывали: есть один тип. Сын попа. Считался зажиточным, а нынче резко сократил посев — самораскулачивается. И где-то раздобыл партизанскую справку.

— Придет секретарь ячейки, обсудим план, — сказал Суриков. — Прижмем кого следует.

В клубе крутили картину. В перерыв между частями я напомнил зрителям, что завтра начнем выпускать ежедневную газету. В ней будем освещать сдачу хлеба.

— К утру — красный обоз! — объявил Суриков, стоявший рядом. — Подвод двести!

— Будем также писать о коллективизации, о сборе сельхозналога, о подписке на государственный заем, — продолжал я. — Селькоров и всех активистов просим приносить заметки.

Поздно вечером в читальне собрали бедноту, в совете — сельисполнителей от всех районов. Вопрос один — о красном обозе. Утром всем обозникам съехаться на базарной площади. Тут же решили вызвать на соревнование соседние села. Часть тиража газеты будем отправлять туда с нарочными.

А наборщик, успевший расположиться в соседней комнате, зажег над реалом десятилинейную, самую яркую, какую только удалось отыскать, лампу, и ждал рукописей. У него и заглавие уже готово: «За колхоз!». В рамке набрано: «Ежедневная газета бригады «Звезда Алтая» в коммуне «Артиллерист» и в селе Марушка».

Но на рассвете в окна застучали крупные капли косого дождя, а потом повалились хлопья мокрого снега. На улице ноги

проваливались по колено в липкую грязь. Промокшие до нитки сельисполнители, вбегая в сельсовет, материли непогоду: никто не едет с хлебом! Да, по правде говоря, и немыслимое дело, — мокрый хлеб не примут. И только в час дня из коммуны ушел в город обоз из тридцати семи подвод. Мешки с хлебом коммунары накрыли брезентовыми полотнищами, подаренными шефами. Кумачовый флаг на первой бричке висел мокрой тряпицей. В заметке, принесенной Белкиным, я прочитал: «Организацией красного обоза коммунары ударили по кулацкой агитации. Единоличники должны последовать примеру».

… Достаю из папки ветхий газетный лист, пожелтевший от времени. В рамке набрано: «17 дней осталось до 7 ноября — срока окончания хлебозаготовок». И во всю страницу крупным шрифтом: «Все силы на хлебозаготовительный фронт!» Чуточку помельче вторая строка: «Всех лошадей нагрузить и отправить в город!». И тут же имена середняков, которые «разбили кулацкую агитацию о непогоде и повезли зерно».

Пленум сельсовета объявил себя мобилизованным до конца хлебозаготовок. Бывшие партизаны обязались отправить красный обоз из 300 подвод. Делегация марушкинцев подписала договор с соседним селом Ложкино, а там в свою очередь вызвали на соревнование село Воеводино. Мы через газету приветствовали село Бехтемир, выполнившее свою первую заповедь по хлебу. Нерадивых, откладывавших из-за непогоды поездку с хлебом, мы заносили «кандидатами» на черную доску. Славили передовиков, записанных на красную доску, сообщали, что им кооперация продает дефицитные товары.

Через газету марушенцы стали вызывать на соревнование сосед соседа. И не только мужики. Так вдова Евдокия Чиркова сдала «хлебные излишки в количестве двадцати двух пудов» и вызвала соседку на «стопроцентное выполнение». Вскоре отправился женский красный обоз из двадцати пяти подвод.

В памяти опять встает минувшее. Нелегко дался вдовам хлеб. Они жали его так же, как мы в дни моей молодости, серпами, молотили молотилами и веяли на ветру. Была в полном смысле слова страда деревенская, равной которой невозможно сыскать. И вот они, помогая одна другой, взваливают на телеги пятипудовые кули, словно литые из свинца, а потом, чтобы лошадям было полегче, шагают рядом по вязкой грязи. У них зябнут руки от мокрых вожжей, и они клянут непогоду: хоть бы поднялся ветер да развеял эти косматые тучи.

Где же облегчение страдного крестьянского труда? Только в колхозах. «Там, — писали мы в своей газете, — тяжкая работа будет переложена на железные плечи машин» и подзадорили

читателей новостью: «Коммуна «Артиллерист» получает два трактора». В селе объявили «неделю коллективизации», и мы стали сообщать о создании новых колхозов, не товарищей по совместной обработке земли, как было еще совсем недавно, а сельскохозяйственных артелей.

На водяной мельнице я подслушал разговор мужиков. В ожидании очереди Прокопий Митин, сидя на мешке с зерном, сетовал на урожай:

— Сеял я пошеничку раньше комунии, а летом глянул — у них хлеб густой, а у меня перепелке негде спрятаться. Отчего так? Коммунский бог добрее, што ли?

А коммунар Карнаухов объяснил ему:

— Ты семена рукой разбрасывал, а мы их сеялкой заглубляли. Ты поторопился — сорнякам волю дал, а мы их изничтожили. Вот и весь секрет.

Знатоки в сельсовете подсчитали: в коммуне уродилось по 92 пуда на едока, а у единоличников в среднем — по сорок два.

Деревенскую жизнь мы старались освещать всесторонне. Однажды на подверстку дали заметку:

«Облигацией по кулаку.

Мы, ученики 3 группы школы № 1, подписываемся на заем «Пятилетка в четыре года»: Петя Кочкин и Маруся Рыбакова — по пять рублей, Коля Калиниченко — два рубля. И вызываем граждан села Марушки, которые еще не успели подписаться».

У нас была занята буквально каждая минута. В течение дня нужно было побеседовать с несколькими десятками местных жителей, написать статьи, отредактировать и четко переписать для набора отклики на призывы газеты, вызовы на социалистическое соревнование, обязательства и рапорты о красных обозах. Словом, обеспечить наборщика рукописями на две полосы формата нынешних районных газет. Поздно вечером я вычитывал корректуру и подписывал в печать. А утром нужно было проследить за рассылкой всех семисот экземпляров по селу и за отправкой с нарочными в соседние деревни. И так каждый день. С самого раннего утра до поздней ночи. Диву даюсь, как мы успевали все это делать. Но мы были молоды — не упускали и ночных часов. У меня как-то находилось время и для записи впечатлений «про запас». Несколько раз я побывал на вечерках девушек и парней, собиравшихся в избах бобылок, запоминал частушки. Их нередко складывали тут же азартные запевалы. Слушал я частушки и на улицах, распеваемые под гармошку. Иногда в них вплетались фамилии местных активистов:

Сидит Белкин на престоле,

Плетет лапти косяком,
Штоб Марушанска коммуна
Не ходила босиком.

Кулак пользовался частушкой в своих целях:

Я надену ремешок,
Затяну потуже.
Кулакам худая жизнь,
Коммунарам — хуже.

Известно, клин вышибают клином, и кулацкую частушку необходимо выбивать своей, призывной, боевой, ударной. И я решил: вернусь в город — напишу в «Звезду Алтая» обращение к начинающим поэтам из литкружков: «Бейте по кулаку частушкой!»

А что же местные активисты? Неужели среди них нет частушечников? Неужели им не бьют по ушам кулацкие частушки? Нет, наши сторонники не промолчат. Ответят. Непременно ответят. И громко — во весь голос. И я попросил одну девушку-активистку записать все частушки, какие ей доводилось слышать о колхозах. Через день она принесла тетрадку. Список большой, настораживающий. Тут и клевета, и запугивания, и даже угрозы тем, кто, очертя «неразумную голову», записывается в колхоз. И только в самом конце тетрадки увидел:

В коммуну войдем —
Разогнем мы спины;
Для совместного труда
Заведем машины.

И я записал себе для будущего очерка: «Злобные частушки распеваются потому, что в селе не развернута культурно-просветительная работа.

Многие коммуны уже имеют агрономов, зоотехников и других специалистов, но я не знаю ни одной коммуны на Алтае, которая имела бы культработника. Даже громкая читка газет в «Артиллеристе» не налажена: горы газет лежат в конторе не тронутыми».

Наша газета не залеживалась. Ее читали. Даже малограмотные просматривали заголовки. Ведь в ней — фамилии

соседей, названия ближних деревень и создаваемых колхозов. Одних газета хвалила, других критиковала, звала к деятельности. После ее заметок на злостных укрывателей хлеба начисляли сельхозналог в индивидуальном порядке. Вскоре приехал в село народный суд — фронт получил подкрепление.

Так промелькнули десять дней, и я подписываю к печати последний номер. Наша работа не была напрасной: поступление хлеба из Марушки и окрестных деревень удвоилось, сельхозналога собрано восемьдесят процентов, в коммуну вступило несколько десятков семей.

В газету заверстаны последние строки: мы благодарим за помощь активистов, пополнивших ряды селькоров, и выражаем надежду, что они объединятся вокруг стенной газеты, будут присылать корреспонденции в «Звезду Алтая». «Ваше оружие — перо! — говорим мы на прощанье. — Настойчивее деритесь за ускорение создания колхозов. Бейте по кулаку!»

За ночь выпал снег. Наши полиграфисты укладывают в сани походную типографию. К вечеру будем в городе.

Лежа в санях, я начинаю обдумывать очерк для журнала. Назову его — «Рапорт с фронта».

Очерк я послал в «Сибирские огни». И буквально через несколько дней получил благодарственную телеграмму от секретаря редакции Надежды Васильевны Чертовой. Следом пришла телеграмма от нового редактора Анатолия Васильевича Высоцкого: «Очерк безусловно хорош тчк. Сдаем ноябрьскую книжку».

Подбодренный таким теплым отношением, я быстренько составил первую очерковую книжку. Назвал ее «Форпосты социализма». Отправил в писательское издательство «Федерация». Не дождавшись ответа, наведался в столицу.

Скромное, еще не успевшее разбогатеть издательство ютилось за Большим театром. Вход с угла, прямо в комнату секретаря. Обаятельная блондинка, оторвавшись от машинки приветила меня:

— А я, знаете, собиралась вам писать: ваша рукопись читается. Впрочем, Борис Андреевич, — кивком головы указала на дверь в соседнюю комнату, — сам расскажет. У него к сибирякам особое внимание.

В это время с улицы стремительно вошел человек среднего роста, с бородкой, в пенсне. Пожав руку блондинке, повернулся ко мне:

— Раз вы сибиряк, так здравствуйте. Из каких краев? С Алтая? С горного Алтая? — переспросил с особой

заинтересованностью. — Ну, а я из Восточных Саян. Тоже горный край. И мы почти земляки. — Он придержал мою руку в своей. — Я — Окулов. Алексей Окулов. Нам есть о чем поговорить. Я знаю Зазубрина — талантливый писатель. По Красноярску помню Вивиана Итина. Из молодежи читал Леонида Мартынова. Отличные стихи! Рад, что Сибирь с новой силой заявляет о себе в Литературе. Очень, очень по-землячески рад.

А я терялся в догадках: Окулов? Окулов? Нет, не читал. И не слышал. Да, в то время, к моему глубокому сожалению, я ничего не слышал о знаменитой в Минусинском крае большой семье золотопромышленника Ивана Окулова. Под влиянием политических ссыльных, в особенности близких к Владимиру Ильичу Ульянову в период Шушекнской ссылки, все дети Ивана Петровича ушли в революцию. Старший сын Владимир погиб в борьбе с колчаковцами. Младший — Алексей член партии с 1903 года, участник трех революций, в годы восстановления советской власти командовал войсками Восточной Сибири. О нем даже сложилась легенда: «Идет Окулов по улице, видит — лежит мертвый человек. Окулов произносит речь, мертвый поднимается, хватает винтовку и идет в бой за власть Советов!» Алексей Окулов был председателем Первого всесибирского съезда советов, членом реввоенсовета Южного и Западного фронтов, членом Реввоенсовета республики. И талант писателя пробудился в нем рано: первая его книга «На Амылреке» вышла в Москве еще в 1916 году. Вот какой человек завел разговор со мной. Эх, если бы я знал об этом в то время… Пройдут десятилетия, и я, пользуясь архивными документами и воспоминаниями современников, напишу о молодом Алексее Окулове в романе «Возгорится пламя». Напишу и о его сестрах, главным образом о Глафире Окуловой, встречавшейся с Владимиром Ильичом еще в молодости. А тогда, в издательстве блондинка, не отрываясь от машинки, сказала, что Борис Андреевич освободился, и я могу зайти к нему. Не успев записать ни адреса, ни телефона приятного собеседника, я поспешил в соседнюю комнату.

Борис Губер сидел, сложив руки на столе, заваленном рукописями. Я назвался.

— Хорошо, что приехали. Разговор полезнее переписки, — сказал он. — Рукопись вашу читали. И нам хотелось бы издать книгу о современной Сибири. Но, — он развел руками над столом, — решения еще нет. Придется подождать. Необходимо мнение кого-либо из членов редакционного совета. Да вот как раз… — Губер взглянул на распахнувшуюся дверь, и голос его зазвучал обрадованно. — Вам, кажется, повезло.

В комнату вошел веснущатый человек в сереньком пиджаке, в

простенькой кепке, протянул искалеченную руку.

— Вовремя, Петр Иванович! — продолжал ГУбер, бережно пожимая руку гостя. — Сибиряк приехал! Деревенский. Знакомьтесь. Он вам сродни. Возьметесь прочесть его рукопись? Хотелось бы срочно, пока он здесь.

— Сибиряк — это интересно, — отозвался вошедший. — Мы как раз собираемся создавать там отделение общества крестьянских писателей, — Подавая руку мне, назвался. — Замойский. Будем знакомы.

«Лапти»! — вспомнил я первую книгу романа, уже получившую известность. А тем временем Губер продолжал:

— Я знал, что вы не откажетесь, Петр Иванович. У нас тут сибиряки, похоже, стаей пойдут. Вслед за Ефимом Пермитиным «Капкан»-то читали?

— А кто его не читал? — отозвался Замойский. — Добротная книга. У нас в ВОКПе — на первом счету. Сибирь чувствуется в каждом слове.

— Мы туда по весне на охоту заявимся, — разулыбался Губер. — На гусей. С Ефимом сговорились. Он уже сейчас восторженно кипит: «Наломаем гуменников!»

Петр Иванович уложил мою рукопись в портфель:

— Ну, а завтра… Коль вы торопитесь домой… Нет лучше все же послезавтра пожалуйте ко мне. Вечерком. Часикам к семи. Записывайте адрес. Чайку попьем, потолкуем.

Дома, похлопывая рукой по моей папке, сказал:

— Почистить надо кое-где. Я тут наставил галочек. — И вдруг перешел на «ты». — Погляди. Подбери слова поярче. Книга у тебя, можно сказать, получилась. Новую Сибирь я чувствую.

Из кухни напахнуло жареной картошкой, почищенной воблой.

— Самая пролетарская еда, — сказал Петр Иванович, приглашая к столу. — По-нашему, по-пензенски. Хотя картошку я больше люблю печеную. Знаешь, прямо из костра. С малолетства привык, когда еще подпаском ходил.

Потом он расспрашивал меня о детских годах, дружески тронув локоть, подбодрил:

— Тебе есть что рассказать людям. Только пиши правду. Одну правду. Не мудрствуя лукаво, не фантазируя.

Для издательства Петр Иванович написал добрый отзыв, и со мной заключили договор.

Книга вышла в 1931 году. Столичные критики, упрекая меня за «недостатки художественности», в то же время отмечали, что книга «может помочь в борьбе за укрепление и создание новых и новых форпостов социализма». В толстом журнале «Земля

советская» (№ 2 за 1932 год) говорилось, что из этой книги «можно узнать некоторые совершенно необходимые сведения о социалистическом строительстве Алтая, его природных богатствах и о жизни алтайцев, их бытовых, этнографических условиях. Книга поднимает и ряд новых, злободневных вопросов (создание национальной печати и культуры вообще, создание национальной трудовой песни и др.), что в известной мере оправдывает ее издание».

Критики были правы: мое перо все еще в значительной мере принадлежало газетчику.

* * *

Старый Бийск был для меня милым городком, милым потому, что здесь жили отважные и непоседливые люди, освобождавшие Алтай от колчаковцев, те, кто боролся за становление советской власти, кто двигал народное просвещение и развеивал мещанский застой. В революционное предгрозье эти люди обитали на окраинах, возле лесопилки, на Зеленом Клине, ежегодно затопляемом весенним половодьем, и вблизи кожевенного завода да текстильной фабрики, снабжавшей край брезентом и грубой мешковиной. Теперь многие из них перебрались в центр городка, в купеческие особняки, но еще не успели навести порядок на его улицах. Купцы, наживавшие миллионы на торговле с Монголией, обманным путем обиравшие кочевое население горных районов, не потратили ни копейки на мостовую. От «отцов города» осталось единственное благоустройство — дощатые тротуары, кое-где успевшие погнить.

Наша редакция — на бойком месте Советской улицы.

Вход, понятно, с улицы.

В маленькой комнатке, где лавочник обычно подсчитывал дневную выручку, кабинет редактора. Дальше — просторный зал для всех нас. Тут и секретарь редакции, и заведующие отделами, и литсотрудники, и художник, занятый гравюрами на линолеуме для очередного номера (линолеум для этой цели сдирали с полов богатых купеческих домов), и даже редкостный по тем временам машинописец, стучавший по клавишам всеми пальцами, не прерывая при этом разговора с автором рукописи. Из нашего зала хороший обзор: глянешь в одно окно — паперть помпезного Успенского собора, на сооружение которого купцы не пожалели денег, глянешь в другое — старинная казачья церковь, построенная двести лет назад, когда тут была еще Би-Катунская крепость с чугунными пушками, нацеленными на Заречье, где

кочевали алтайские племена до их добровольного присоединения к России. Сохранить бы эту церковь, как архитектурный памятник, но ее сочли ветхой и обрекли на слом. Более того — взорвали на площади нарядную Троицкую церковь, подлинный памятник зодчества. Объяснили: кирпич пойдет на новые дома. Но глыбы оказались такими громадными, что к ним не подступишься ни с кувалдой, ни с ломом. Так и лежала груда добрый десяток лет.

Между казачьей церковью и Успенским собором — обширный вход на базар, где дощатые ларьки выстроились рядами до самого обрыва к Бие. Потому-то мимо наших окон идут и идут люди. Одни спешат за покупками на базар, другие — в собор на моленье. Но в этом людском круговороте мы давно приметили старика среднего роста, с белой бородой, закрывающей половину груди. Он всегда придерживался нашего тротуара. Шел степенно. Не спешил даже тогда, когда звоном всех колоколов сзывали богомольцев в собор. И базар его не интересовал. Своей прогулкой он как бы выполнял долг перед горожанами: пусть помнят о минувшем. На его голове и летом и зимой была неизменная островерхая буденовка с кумачовой звездой. На шинели с малиновыми застежками горел боевой орден Красного Знамени. А на левом боку покачивалась шашка с серебряным эфесом. Горожане почтительно уступали ему дорогу, в особенности тогда, когда он шел возле проломов в полусгнивших тротуарах.

Иногда он исчезал из города на несколько недель, и мы уже знали — уехал погостить в Барнаул или в родную деревню Рассказиху, знали, что и там вот так же похаживает по улицам. После гостевой отлучки он снова появлялся у нас в Бийске, словно по-хозяйски проверял: «Все ли у вас тут в порядке?» И кто-нибудь из нас, увидев его первым, непременно сообщал всей редакции: — Федор Степанович вернулся!

Это был партизан Гуляев. Если бы в те годы существовал пользующийся всеобщим уважением корпус Героев Советского Союза, то Федора Степановича, несомненно, удостоили бы этого высокого звания.

Перенесемся в 1919 год. Красная армия, тесня колчаковцев, грозным валом перекатывалась через Уральский хребет, который белогвардейцы хвастливо объявили неприступным. А в тылу у них, словно костры в ночи, разгорались очаги народного восстания. Не хватало кумача на шапки. Не хватало природных снадобий для самодельного пороха. Стараясь погасить костры народного гнева, колчаковцы бросали во все концы Сибири отряды отборных карателей. Горели подожженные ими деревни и

стыли на ветру тела повешенных, а народный гнев полыхал все сильнее и сильнее. Партизанские отряды сливались в полки, формировались народные дивизии, на освобожденных территориях возникали советские республики. Дни белогвардейщины шли на ущерб. Но издыхающий зверь еще наносил смертельные укусы, превращал селения в груды пепла.

Один из карательных отрядов, гоняясь за партизанами, разведал, что их «гнездо» в лесной деревне Бобровке. А как по бездорожью пробраться туда и захватить врасплох? Без знатока местности не обойтись. На лесном кордоне нашелся старик, готовый пойти проводником. Надежный, — в избе у него полный угол икон. В глубину леса двинулись в сумерки — в Бобровке навалятся на спящих партизан. Всех покрошат, получат благодарность от самого Колчака, Верховного правителя. У старика иная думка: в глухом лесу — Гнилое болото, его не заметят, примут за лужайку и вломятся на конях. А он знает тропку и перебежит возле трясины. От пуль на первое время схоронится в темных кустах. Дальше ему известна каждая сосна, и он добежит куда нужно, поднимет своих.

Так и случилось: в болоте кони увязли, а старик, перебежав по кочкам, кричал:

— Сюда, ваше благородье! Тут дорожка! Чуток правее. Сюда, сюда! Еще правее!

Возле того болота друзья старика, подоспевшие из Бобровки, и прикончили карателей.

А когда вымели всю нечисть железной метлой, Гуляеву сказали в губревкоме:

— Поезжай-ка ты, Степаныч, в Москву. Отвези поклон Ленину.

В столице, в главном штабе Красной армии Федор Гуляев первым делом повидался с Буденным. Там их сняли на карточку. Рядышком. Семен Михайлович, полуобнимая старика, положил ему, руку на плечо. А потом повезли Федора Степановича в Кремль, к самому Ильичу. Расспрашивая немногословного старика, Ленин не удержался от восторга:

— Ай, да сибиряк! Настоящий Сусанин! В новых условиях повторил его подвиг! Слыхали о Сусанине

Нет, Федор Степанович не слыхал об Иване Сусанине.

— Так мы к вашей фамилии, — сказал Ленин, добавим фамилию того давнего героя.

И Федор Степанович из деревни Рассказиха нынешнего Алтайского края стал Гуляевым-Сусаниным. Тогда же он был награжден орденом Красного Знамени, ему вручили армейское обмундирование и шашку с серебряным эфесом. А Владимир

Ильич попросил старика отвезти в Сибирь два венка, один возложить на братскую могилу вблизи места его подвига, другой — в Барнауле, на проспекте, где покоятся герои революции.

А потом выяснилось: кроме Федора Степановича, такие же подвиги в других районах Сибири совершили Иван Пешков и Никита Молчанов.

* * *

С малых лет я полюбил печатное слово, и газета стала необходимым спутником моей жизни. А началось вот с чего. В 1914 году в нашем селе Залесово открылось почтовое отделение — редкий для того времени случай. За почтой круглый год три раза в неделю ездил на паре откормленных лошадей Михей Казаков, отец моего друга, учившегося уже в третьем классе школы (это и сдружило нас, мальчуганов). Михей уезжал вечером в большое село Сорокино, за тридцать пять верст, и к рассвету привозил к нам почту в громадном кожаном мешке с железными застежками, схваченными увесистым амбарным замком. С ним ездил охранник, вооруженный наганом, хотя и не случалось ни одного почтового ограбления. Когда началась война, письма в нашу волость стали приходить такими грудами, что начальник почты был не в силах управиться с ними. А я к тому времени прослыл «грамотеем», и начальник приветил меня. Я стал помогать ему разбирать огромнейшую почту: письма в соседние деревни раскладывал по полочкам. А той порой у крыльца двухэтажного дома парадным крыльцом собиралась в ожидании писем с фронта такая толпа солдаток, что они заполняли всю улицу. Начальник вручал мне стопу писем, адресованных в наше село, и я с сознанием долга нес их вниз. Остановившись на крыльце, выкрикивал фамилии и отдавал в толпу письмо за письмом. Таким было мое первое, как сказали бы сейчас, общественное поручение. Раздав письма, я снова подымался на второй этаж, а там начальник — о, чудо из чудес! — бережливо доставал из кожаной утробы пачки газет, источавшие незнакомый ранее, приятный запах типографской краски. Почему-то первой в моих руках оказалась большая газета с крупными буквами «Жизнь Алтая». Ох, сколько в ней было новостей! Со всего света! Газета знала все! Я первым делом бежал глазами по строчка новостей с «Театров военных действий». Прочту и побегу рассказывать соседям. Но ведь не прочтешь на почте все четыре страницы. Взять бы газету с собой. Начальник сказал: «Нельзя — подписчик ждет, спросит». Подписчик! А нельзя ли и мне стать таким

счастливчиком. Оказывается можно. И я стал получать газету с бумажным пояском, на котором было оттиснуто: «Залесово, господину Коптелову А.Л.». Вот как! Господином стал! Как-то я прочел на газетном листе: «Типографии газеты «Жизнь Алтая» требуются вертельщики». Сбежать бы туда! Там все время можно держать в руках свежую газету! Но начальник почты разочаровал: печатные машины огромные, и вертеть колесо может только крепкий мужик. Значит, еще не пришла пора убежать из дома в далекий город Барнаул. А вот газету, оказывается, можно выписать даже не одну, только нашлись бы деньги. И я подписался на «Народную жизнь». Что же еще ближе нам, деревенским? И стал приходить из Кургана журнальчик «Союза маслодельных артелей». Там — о сепараторах, предлагаемых шведской фирмой «Альфа-Лаваль», и о продаже масла в Лондон. Зачем мне это? Но ожегшись на молоке не стал дуть на воду, — выписал из Петрограда газету «Копейка». Дешево и знатно! В ней даже больше новостей, чем в барнаульской «Жизни Алтая». Тут, думалось, мне тогда, весь мир!

Вот и у нас в Бийске все новости — в редакции газеты. Они слетаются к нам со всего округа от рабкоров и селькоров, наших первых помощников. К нам приносят статьи партийные работники и комсомольцы, агрономы и инженеры, учителя и библиотекари. Заходят просто поговорить патриоты края. Без таких связей с народом не было бы газеты.

Почти каждый день заходил к нам Захар Двойных, крутоплечий, черноглазый, с подстриженными усами; с порога начинал разговор:

— Редактор, видать, опять пишет передовую, так я — прямо к вам, — Каждому из нас подавал широкую, жесткую руку, с юности привыкшую к нелегкому заводскому труду; потрясая потертым портфелем, переполненным бумагами, давая понять: принес такое, что вы ахнете и сразу отправите в номер. — Да, да, Захар Двойных не приходит с пустыми руками. У РКИ (рабоче-крестьянской инспекции) — всюду глаз. По-партийному требовательный, строгий. Тягаем к ответу бюрократов да бездельников. Не взирая на лица. Я, знаете, с молодых лет к печати тянулся…

Он подсаживался к одному из столов, клал портфель на уголок и, забывая о принесенной рукописи, припоминал какой-нибудь эпизод из своей жизни. Мы уже знали, что еще в конце прошлого века он, молодой слесарь, по ночам расклеивал в Киеве листки, звавшие к забастовке. Был схвачен и брошен в тюрьму. Отсидев срок, метнулся в Сибирь. На станции Нижнеудинск был снова схвачен, на этот раз карательным отрядом Меллера-

Закомельского, и опять оказался за решеткой. Приговорили его к ссылке в Нарымский край. Оттуда перебрался в Бийск. Во время войны, когда уже вскипал народный гнев, в землянке среди леса печатал на гектографе листовки. Теперь он по ночам пишет воспоминания. И мы догадывались, что Захар Яковлевич, придя в редакцию, пересказывает нам страницу за страницей. Без излишней скромности. И при этом обводит всех нетерпеливым взглядом: понравилось ли? Слушать его, в самом деле, было интересно, и мы на время забывали о рукописях для набора. Однажды он, встав посреди комнаты, принялся нам втолковывать:

— Вы думаете революция — дело одного Ленина. Нет, конечно, далеко не так» Там, в центре, — увлекшийся рассказчик приподнял руку, — был большой Ленин. Ну, а на местах были Ленины поменьше. Везде. И здесь, в Бийске, был маленький Ленин. Это вам полезно знать.

После этого наше отношение к нему круто изменилось. В особенности не взлюбил его Василий Семенов-Трудовой, организатор комсомола в одной из ближайших к городу волостей. Он знал многих участников становления советской власти в Бийске. Увидев Захара Яковлевича в окно, он в полголоса бурчал:

— Сейчас к нам снова пожалует маленький Ленин.

Мне при этом думалось: после Октября он, Захар Двойных, был здесь председателем совдепа, почему же теперь его рабочий стол не в особняке бывшего куща Асанова? Почему председателем окрисполкома Игнатий Громов? Не потому ли, что Захар Яковлевич часто и много говорит о себе?

Отвлекаясь от воспоминаний, Двойных обычно хлопал ладонью по вместительному портфелю и повторял:

— Я пустым не прихожу. — И доставал несколько страничек. — Вот полюбуйтесь: мы вскрыли новые нарушения. Это надо сразу в номер. Кому из вас отдать? Я не сомневаюсь — редактор согласится.

При содействии общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев Захар Двойных вскоре перебрался в Москву. В издательстве этого общества вышли его воспоминания.

* * *

Полной противоположностью Двойных был немногословный Иван Яковлевич Третьяк, бывший командир партизанской дивизии Горного Алтая. Он, будучи уже тогда пенсионером, жил в Заречье, на нашей Краснооктябрьской улице и заходил ко мне не в редакцию, а домой. Как сосед к соседу.

Был он высоким и массивным, как Илья Муромец на полюбившейся всем картине Виктора Васнецова, только без бороды и усов. Однажды он пришел в галошах, удивительных по величине. Пока мы разговаривали, наши мальчики присели возле великанских галош, показывая друг другу пальцами. Потом посадили в галошу пушистого Мурзика и в ней осталось достаточно места еще для одного кота.

Говорил Иван Яковлевич не спеша, с явным белорусским акцентом. Голос у него был глуховато-хриплым, словно горло его еще не избавилось от простуды, приобретенной во время горных походов в зимнюю стужу. И во всем его облике не было ничего командирского.

Он вспоминал свою горькую молодость, голодную пору. В неурожайный год крайняя бедность погнала белорусов из родного Полесья. Близкие родственники отправились переселенцами в Сибирь, а он, довольно начитанный юноша, рискнул поискать счастья за океаном, в расхваленной благодатной «стране равных возможностей» для богатых и бедных. Доволен был лишь тем, что, став эмигрантом, избежал царской солдатчины. Обладая изрядной силушкой, он в Сан-Франциско нашел работу на механическом заводе. Вступил в профсоюз. В известной мере овладев английским, стал по газетам следить за будоражащими новостями с «театров военных действий» в родной стране. Вместе с земляками, такими же бедолагами, ликовал, когда узнал, что в Петрограде «спихнули» Николая Кровавого. И при великих Октябрьских переменах не мог больше оставаться на чужбине. Счастье-то, оказывается, там, на родине. Нужно возвращаться домой. Немедленно. А как? Каким путем? Через Атлантику и Западную Европу невозможно. Там схватят и бросят за решетку в какой-нибудь лагерь или — хуже того — втолкнут солдатом в Русский экспедиционный корпус, застрявший во Франции, на ее восточном фронте. Остается единственный путь — через Тихий океан. В Сибирь. К родственникам, поселившимся где-то на Алтае. Адрес, к счастью, у него есть. А там будет видно, чем ему заняться. Скопив денег и заручившись удостоверением от международной профсоюзной организации рабочих, отправился в путь. А пока плыл через океан, в Сибири загрохотала гражданская война. Во Владивостоке высадились японцы, а затем английские и американские войска. Не попасть бы в ловушку интервентов или белогвардейцев. Придется пробираться через Китай, как бы это ни было сложно. Пробраться, непременно пробраться к родственникам на Алтай. Там, возможно, удастся отдохнуть после изнурительного пути, а дальше — совесть подскажет. Главное — он будет среди своих.

И вот он в Бащелакской волости, возле таежного хребта. Пожил у родственников, присмотрелся ко всему в округе. В лесах до поры, до времени хоронятся солдаты, сбежавшие из колчаковской армии. В поисках за ними рыскают карательные отряды, пойманных вешают, живьем закапывают в землю, сжигают деревню за деревней. Тем временем непокорные мужики, успевшие запастись порохом да свинцом, заряжают картечью охотничьи ружья, хозяйки сушат сухари для беглых смельчаков. А кузнецы по ночам уже куют пики, — все пригодится для налетов на карателей. Красная армия сокрушает врага уже на Урале. Ей нужна подмога. Отсюда, с тыла. Немедленно. И вот уже всюду — фронт. Разгорается народный гнев. Кто — кого? Ко — нечно, победит народ. Не может не победить. Только нужен клич: «В партизанские отряды! За советскую власть! С пролетариями заодно! С большевиками!»

Для него, Ивана Третьяка, подобрали дюжего коня, показали тайную тропку к ближнему отряду. Там вслушивались в каждое его слово, расспрашивали придирчиво: «Кто такой? Откуда? Как с неба свалился!» Земляки-переселенцы подтвердили — знают с малолетства.

Свой человек. Бедняк из бедняков. Он рассказал о мытарствах за океаном и о том, с каким риском добирался до Сибири. Слушателей расположила его политическая грамотность и стойкость. Такой не сфальшивит. Такому можно довериться. Даже в Америке от рабочих слышал о Ленине. А на родине фронтовики помнили: Ленин дал замиренье! Хозяевами земли стали те, кто пашет ее и своим трудом выращивает хлеб. И, если бы не распроклятые беляки да мироеды… Жили бы спокойно, растили детей. Для радости…

И партизаны, разговорившись, поделились тайной: за сопкой хоронятся такие же, как они, беглые да смелые, небольшой отряд…

— А надобно действовать большими отрядами, — сказал Иван Яковлевич с твердой убежденностью. — Бить врага сильнее. Не сдается, так — насмерть! Чтоб не мог подняться. Чтоб чужие разные там американцы, японцы, англичане не лезли в наш советский дом. Никогда. Слышали про Кулундинскую степь? Там снова поставили советскую власть. Твердо! Партизаны, как армия — роты да полки.

После доверительного разговора согласились проводить Третьяка в соседний отряд. По дороге туда Иван Яковлевич говорил спутникам о весне: маленькие ручейки, пробуждаясь, сливаются в могутную реку. Эту силушку уже ничто не остановит. Вот так и с народным гневом.

Он не ошибся: вскоре маленькие отряды слились в первый горно-партизанский полк. Вслед затем сформировался и второй полк. Его, Ивана Третьяка, избрали командиром дивизии.

Партизанская армия угрожала Бийску. Еще несколько дней и всадники с кумачовыми лентами на шапках ворвутся на его улицы.

К тому времени полки Ефима Мамонтова уже обложили Барнаул, перехватили горловину железной дороги. Для бийских белогвардейцев путь к бегству отрезан, и они ринулись по Чуйскому тракту в Монголию. Партизаны доколачивали их. А те, кому удалось избежать возмездия, рассыпались по лесам да ущельям. Бийск праздновал победу.

Иван Яковлевич добавлял к своим воспоминаниям страницу за страницей. Давал нам читать. О будущей книге чаще всего советовался с Василием Семеновым (Трудовым).

Покончено с Колчаком: труп адмирала спущен под лед Ангары. Изгнаны интервенты. Сибирские партизаны вливались в Красную армию, отправились добивать белогвардейщину на юге страны, освобождать Крым. Но не было спокойствия на Алтае. Банды головорезов разбойничали в горах. Покончить с ними било не так-то просто. Для этого потребовались многие месяцы. И полную победу принесли уже другие герои, с которыми в свое время тоже сведет меня судьба газетчика.

* * *

Наш новый редактор знал и ценил художественную литературу. Иногда заходил на собрание литературного кружка, собиравшегося по средам. Литературную страничку теперь мы давали каждое воскресенье. У нас часто печатался комсомольский поэт Василий Непомнящих, пользовавшийся в те годы в Сибири широкой известностью. Илья Мухачев по-прежнему присылал стихи то из Барнаула, куда на время перебирался в просторную квартиру Василия Семенова, то из Новосибирска, где обретал приют на большой русской печи какого-то переплетчика. У нас всегда находилось место для безвестных поэтов из далеких деревень. Обычно они начинали с селькорских заметок. Из деревни Излап Салтонского района писала нам девятнадцатилетняя девушка Мария Халфина. Ее заметки отличались грамотностью. Чувствовалось — она любит литературу. И вскоре она, подбодренная, письмами из редакции, стала присылать стихи. У меня сохранилась ее рукопись, приготовленная для набора. Вот она, четвертушка листа, с тремя

четкими строфами:

За окном скользят снежинки. Листья
По земле сплетаются в ковер.
На окне мороз изящной кистью
Написал причудливый узор.

По углам уже таятся тени,
Меркнет день закатной полосой.
Со стены прищурясь смотрит Ленин,
В сумерках понятный и родной.

Так родны мне в отблески заката
Сонные родимые поля,
Серые заснеженные хаты
И до боли близкая земля.

Внизу приписка: «Вместо одного шлю два стихотворения. Если не пойдут, пишите скорее — пошлю в Москву».

Не помню напечатали ли мы оба стихотворения или только это, расположившее к себе упоминанием имени Ленина.

Мы радовались творческому росту Марии Леонтьевны, подбадривали письмами и по-настоящему встревожились, когда она вдруг умолкла. Что с ней? Не прервался ли ее поэтический голосок? Оказалось — уехала учиться. А по окончании библиотечного техникума она, бесконечно влюбленная в книгу, нашла себе работу в библиотеке Моряковского затона, неподалеку от Томска. Ее поэтический голос, действительно, прервался, но она, уже умудренная жизненным опытом, перешла на прозу. Пройдут годы, и ее рассказы и повести будут появляться в журнале «Огонек», выйдут отдельными книгами и с ее участием будут экранизированы. Особым успехом будет пользоваться ее повесть «Мачеха» и рассказ «Безотцовщина». А в 1968 году к ее шестидесятилетию «Сибирские огни» напечатают рецензию на ее итоговый сборник «Простые истории». «Но не так уж просты эти истории, — отметит рецензент, — Каждая из них — программа борьбы за Человека. Борьбы трудной, длительной, с успехами и поражениями. А вернуть миру человека — это то же, что созидание. Это сродни творчеству». И в заключение рецензент окажет: «Простые истории» М. Халфиной вносят свой вклад в дело нравственного образования».

А в своей анкете Мария Леонтьевна напишет, что печататься она начала в 1927 году, то есть в ту пору, когда присылала заметки и стихи в нашу «Звезду Алтая» Таков путь одного из

селькоров в художественную литературу.

* * *

«Звезда Алтая» была большой ежедневной газетой, а делали мы ее вчетвером: правили статьи и заметки, писали сами, поддерживали связь с рабкорами и селькорами, с окружными организациями. Редактор почти целые дни проводил на заседаниях и, в лучшем случае, спешно писал передовую в номер, когда рассыльный уже ждал, чтобы отнести в типографию.

Нам было очень трудно, потому что никто из нас не имел хотя бы среднего образования. Мы работали, не считая часов. И в то же время нам нужно было пополнять свои знания, ведь нам, помимо промышленности и сельского хозяйства, приходилось писать и о театре, и рецензии на книжные новинки, и давать отклики на международные события.

Мы обрадовались, когда нам удалось отыскать бывшую преподавательницу гимназического курса английского языка, старушку, которую судьба закинула в наш город. По воскресеньям она давала нам уроки.

Пополнение редакции грамотными сотрудниками было крайней необходимостью. А где взять журналистов? Приходилось готовить самим. Окружные организации, как могли, пытались нам помочь. Помню, как-то перед Новым годом на «укрепление» редакции нам «бросили» из села Сростки преподавателя литературы в школе второй ступени. Я обрадовался — наш литературный кружок пополнится знатоком словесности.

И вот приехал тихий, низкорослый человек, с усиками, с вялым тенорком. Назовем его Аношиным. И в первой же его статье на школьную тему секретарь редакции Якименко не оставил нетронутой ни единой строчки. Возвращая рукопись, не скрыл огорчения:

— Перепишите поживее. И без лишнего мудрствования.

В ту зиму я по ночам перечитывал Льва Толстого и однажды, разговаривая с Аношиным о литературе, спросил нравятся ли ему сцены охоты в романе «Анна Каренина». В ответ услышал:

— А я, знаете, вообще не люблю Достоевского. Вот Толстой — это да!

— Толстой?! — переспросил я, подавляя удивление. — А который?

— Как который?! — в свою очередь удивился Аношин. — Классик! Это же ясно.

— А может, вам нравится Алексей Толстой, автор романа «Князь Серебряный».

— Ну, нет. Я говорю про дореволюционного.

— Алексей Константиновича Толстой — дореволюционный.

— Константинович?! Да не путайте меня. Я говорю об авторе романа «Войнам мир». Это — шедевр! Разве вы не согласны?

Я согласился и заговорил о современной литературе. «Виринею» он не может не знать. Ответил бодро:

— Конечно, читал. А до «Виринеи» Анна Караваева написала «Золотой клюв». Про старый Алтай, про горный округ. Вскрыла зверскую эксплуатацию бергалов и приписных крестьян. То были крепостные самого царя. Кто начнет говорить, что в Сибири не было крепостного права — не верьте. Было такое право на здешних царских заводах. Хуже, чем у помещиков.

Да, «Золотой клюв» он, в самом деле, читал. Но маловато для преподавателя литературы.

Редактору хотелось, чтобы Аношин поскорее набрался журналистского опыта, и он отправил нас вдвоем на районное собрание кооператоров для совместного репортажа. Ямщик подал нам кошеву, стенки которой были обиты плотным казахским войлоком, для сиденья положил мягкого лугового сена. Мы выехали в тихие предрассветные сумерки, и дорога была еще пустынной. Свежий снежок мягко похрустывал под полозьями. Луна, как новенький серебряный полтинник (такие монетный двор чеканил в конце двадцатых годов), катилась по небосклону, прячась на время за рваные облака. Ямщик оказался неразговорчивым. И мы тоже молчали. Мне не хотелось касаться литературы, чтобы не поставить преподавателя словесности (правда, в ту пору это слово не употреблялось в разговоре) в неловкое положение. А он, глядя на луну, вдруг запел хилым тенорком, будто делился с ней самым сокровенным:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Природе…

— Внемлет богу, черт возьми! — вырвалось у меня.

А он, будто не расслышав, закончил строфу мажорно:

И звезда с звездою говорит.

И, отогнув воротник тулупа, повернул лицо ко мне:

— Отлично! Вот так же, как сейчас. Только мы не вышли, а выехали на дорогу. И путь снежно-кремнистый, и ночь тиха, и звезды летят за луной.

— А чьи стихи? — спросил я. Думал — ответит: «Пушкина». Нет, на этот раз он не ошибся:

— Моего любимого поэта! — Еще ниже отогнул воротник, чтобы я непременно расслышал его торжественный ответ. — Уж Лермонтова-то я, как говорится, назубок.

— Слава богу! — снова вырвалось у меня.

Аношин возмутился:

— При чем тут бог! Я принципиальный безбожник! Если бы вы приплели тут Демона, так я, может быть, и согласился бы.

Его ответ раззадорил меня, и я поспешил перевести разговор на западную литературу. Возможно, ее-то он в какой-то степени знает.

Ямщик, смахнув рукавице иней с бороды и с усов, глянул на нас через плечо: не поссорятся ли грамотеи из-за пустяков? Я продолжал расспрашивать Аношина то о французских, то о немецких классиках. К моему крайнему удивлению собеседник, немало не смущаясь, путал Золя с Мопассаном, а Гейне — с Гете. И я не сдержал упрека:

— Вы, называясь словесником, не знаете ни нашей классической литературы, ни современной, ни западной…

— А я никаким словесником не звался, — попробовал оправдаться Аношин. — Я — учитель. Советский учитель, — подчеркнул он.

— Тем более нетерпимо, — продолжал я. — Как же вы, так безбожно путаясь в основных литературных именах, преподавали словесность в школе второй ступени?

— Очень просто, — поспешил оправдаться он. — Я, если хотите знать, красной нитью политическую линию тянул.

— Бедные школьники!

На этом наш разговор о литературе оборвался. И больше не возобновлялся ни в дороге, ни в редакции.

Через две недели, когда окончился испытательный срок, редактор сказал в окружкоме, что выдвинутый шкраб (так для краткости тугоухие люди называли тогда школьных работников) для работы в редакции не подходит, и Аношина «бросили» на какую-то другую работенку.

* * *

В те годы во всех организациях были «выдвиженцы», чаще всего пожилые, хотя малограмотные, но умудренные жизненным опытом, и обязательно большебородые. А у нас «выдвиженца» не оказалось. Пришлось срочно исправлять «упущение». Из

волостного села Солонешное пригласили селькора, правда, безбородого. Полагали, что молодой окажется грамотнее бородача. Приехал высокий, румяный, как девка, детина с только-только пробивающимися русыми усиками. Теперь уже не помню его фамилии. Из дома он присылал довольно грамотные заметки об избе-читальне, о работе кооперации, о создании товариществ по общей обработке земли. Его, скромного, тугого на разговоры, зачислили в штат репортером. В поисках интересных фактов ему доводилось целыми днями ходить по учреждениям и к вечеру он изнемогал от усталости. Вскоре посетовал:

— Хуже, чем на молотьбе! Даже в жару сено кидать на стог легче этой беготни.

А через месяц взмолился:

— У меня эти факты все нервы вымотали! Голова разламывается!

И попросился отпустить домой.

Редактору не хотелось получать упрек за неумение воспитать «выдвиженца», и он принялся уговаривать: дескать, привыкните, приобретете опыт. Но месяца через три пришлось уволить «по собственному желанию».

А вот для Вани Полежаева, беленького городского паренька, уговоры не понадобились. Придя к нам после школы второй ступени, Ваня, — так запросто, даже ласково звали его все в редакции, — дорожил своим репортерским стулом. Ваня твердо решил, как бы ему ни было трудно, пусть не через год, даже через пять лет, но он выйдет в подлинные журналисты. В отличие от солонешенского «выдвиженца» он уже пользовался телефоном и за день заполнял фактами толстый блокнот. Хотя безжалостный Якименко из целой страницы его рукописи оставлял не более двух-трех строчек, Ваня и тому был рад. Он не строчкогон, как — по рассказам — бывало в прошлые времена. У него незыблемая зарплата. В твердых червонцах! Чего же еще желать? Говорят, он растет медленно, а народная мудрость гласит: тихий воз будет на горе. И у Вани стали появляться заметки. А когда при ликвидации округов тихо скончалась наша любимая «Звезда Алтая» (ее имя взяла себе главная газета Горно-Алтайской автономной области), а в городской малоформатной газете «Бийский рабочий» для него не оказалось штатного места, Ваня, уже газетчик со стажем, перебрался в редакцию краевой газеты «Советская Сибирь». Там несколько десятилетий он заведовал отделом, даже писал удачные репортажи. Пусть он не покорил высокой горы, но недюжинное упорство все же помогло подняться на некую журналисткую сопку.

Но у нас начиналось более яркое восхождение. В конце

двадцатых годов пришла к нам на работу молодая, грамотная, энергичная, с широким кругозором и тонким чутьем общественной жизни Эсфирь Иосифовна Страхова. Под репортажами ставила подпись — Буранова.

Как бывало в те годы, псевдоним со временем стал ее фамилией.

При ликвидации округов ей, как многим из хорошо подготовленных, подлинно интеллигентных работников, тоже пришлось покинуть Бийск. К ее счастью, переезд в Новосибирск и работа в большой краевой газете способствовали ее творческому росту. За очерки и, главным образом, за пьесы из современной жизни ее приняли в Союз писателей. На сцене прославленного в тридцатые годы театра «Красный факел», который при талантливом режиссере Вере Павловне Редлих с должным к тому основанием называли «Сибирским МХАТом», были поставлены две пьесы Эсфири Бурановой, прошедшие с немалым успехом.

А дальше — Ленинград, многолетняя работа в киностудии Ленфильм.

Скромная, но весьма благожелательная к сотрудникам, «Звезда Алтая» дала Эсфири Бурановой, так же, как, скажем, Илье Мухачеву, добрый творческий старт.

* * *

Наша газета явилась также стартовой площадкой для одного комсомольца примечательной для начала двадцатых годов судьбы. Это был Анатолий Николаевич Шилов, невысокий здоровяк с румяными будто раскаленными щеками. Одновременно с партизанами, знатоками Алтайских гор, он, член уездного комитета комсомола, был включен в отборный отряд частей особого назначения (ЧОН) под командованием барнаульского жестянщика Ивана Долгих. В составе отряда юный чоновец совершил легендарный зимний бросок через Теректинский хребет, по трудности превосходящий всемирно известный переход Суворова через Альпы.

Я знал Ивана Ивановича, бывал у него дома, когда он ведал северными поселками, созданными в годы ликвидации кулачества как класса. А во время первой сибирской альпиниады на Белуху я больше месяца жил в его командирской палатке. Он был гренадерского роста, весил сто семь килограммов. Глаза у него были крупными, по-охотничьи зоркими, нос с горбинкой. Нрав крутой и непреклонный. Зимой он носил серую каракулевую папаху, заломленную к затылку, летом — армейскую фуражку. В

1918 году, присоединившись в Барнауле к кузбассовскому красногвардейскому отряду Петра Сухова, он с боями прошел по всему Алтаю до северного подножия Белухи. За деревней Тюнгур отряд погиб в ущелье реки Катунь, где оказалась белогвардейская засада с пулеметами. Иван Иванович чудом уцелел. Скитаясь по Теректинскому хребту, огибающему с севера Уймонскую долину, он узнал все особенностях гор.

В 1921 году банда подъесаула Кайгородова, укрывавшаяся в Монголии, вторглась на Алтай, перерезала Чуйский тракт. У Телецкого озера к Кайгородову присоединились две банды. Набрав силу, бандиты двинулись в западные волости Горного Алтая, заняли все пути-дороги и даже стали угрожать Бийску. Кавалерийские части, незнакомые с горными условиями, в боях с бандитами несли большие потери. Вот тогда-то и был сформиро¬ван истребительный отряд Ивана Долгих.

Уймонскую долину, окруженную снежными хребтами, Кайгородов считал своей неприступной крепостью. Туда веди только два прохода: со стороны устья Чуи — ущелье, в котором погиб отряд Сухова, со стороны Усть-Кана — Коксинское ущелье, еще более опасное для наступающих частей. Штаб Кайгородова расположился в центре долины, в деревне Катанда. Бандиты чувствовали себя, как за каменными стенами.

В марте 1922 года сводный чоновский отряд Ивана Долгих двинулся на юг по Чуйскому тракту. На перевале Чике-Таман Иван Иванович сломал на пакете сургучные печати и достал приказ: сводному отряду поручается разгром кайгородовцев. Командир глянул вниз на обширную долину, «которая, — писал он в хранящихся у меня воспоминаниях, — накануне стала могилой двух батальонов 185 полка. Спаслось лишь несколько отставших красноармейцев. Командир полка застрелился».

Вернувшиеся разведчики доложили, что теперь в долине бандитов нет. Значит, ушли по катунской тропе в свое уймонское гнездо. И с такой уверенностью в недосягаемости, что даже не оставили заслона.

Чоновцы спустились в поселки, расположенные по тесной долине Катуни, стали запасаться вареным мясом. Командир собрал старых охотников, которых Кайгородов — по их возрасту — не смог мобилизовать в свою банду. Все сказали, что в это время года Теректинский хребет непроходим. Но выбора не было, и Долгих приказал выступать в поход по снежной целине.

Известно, что Суворов вел свою армию через Альпы все же по населенной местности, по древним, хотя и трудным, дорогам. Чоновцы проламывались к подножию хребта по двухметровой снежной толще, где не было даже звериных троп. Через двое

суток опустели переметные сумы: иссякли запасы мяса, гибли лошади, оставшиеся без овса. Истощенных коней прирезывали на шашлык. Появились маловеры, возник ропот, и командир был вынужден объявить по цепи: «За панику — расстрел на месте». Он-то знал — обратного пути нет. Если бы кто-то посмел вернуться, погиб бы в снегах от истощения и морозов, навалившихся на этот край. Только — вперед. И не погибнуть в снегах, а за перевалом истребить врага, если он не сдастся в плен.

А на перевале — того труднее. Крутой спуск оледенел. К тому же, кружилась вьюга, закрывая все внизу. Старик-охотник, взятый в проводники, сказал: «В других местах еще хуже. Не приведи бог!»

— Без бога спустимся, — отмахнулся от него Долгих и повернулся к чоновцам. — Ну, кто не робкий? Вперед!

Отчаянно смелых вблизи не оказалось, и командиру пришлось расстегнуть кобуру нагана:

— Считаю до трех. Раз, два…

Командир одного подразделения крикнул своим:

— За мной, мужики! — Нахлобучил папаху на глаза и, дернув коня за собой, покатился во мглу.

А ниже — второй спуск, тоже оледенелый. И таких спусков оказалось девять. Считать покалеченных было некогда. Скорей — вниз!

У выхода в долину — заимка. Там устроили поверку. На спусках «потеряли двух человек зашибленными» записал позднее командир в своем донесении.

Среди ночи отряд построили, и на уцелевших конях ринулись на Катанду.

В деревню ворвались до рассвета. Бандиты еще спали в теплых домах…

Помощник главнокомандующего войсками Сибири Петин отметит в приказе:

«10-го апреля истреботряды под общей командой Долгих, совершив поистине суворовский сорокаверстный переход через Теректинский хребет при глубине снега в три аршина, потеряв при подъемах и спусках 157 лошадей… внезапным ударом захватили в деревне Катанда весь бандитский гарнизон, в том числе самого Кайгородова и его штаб. За разгром основного ядра Кайгородова т. Долгих награждается орденом Красного Знамени».

Комсомольцу Шилову посчастливилось: он оказался в числе ворвавшихся в Катанду.

— Бандиты выскакивают в одних рубахах, а мы их, как зайцев, — рассказывал мне Анатолий. — Раз, да раз. По всем улицам уложили. И без потерь. Главарь тоже выскочил во двор.

Увидел, что штаб окружен, и — обратно в дом. Там нырнул в подполье. Успел глотнуть какого-то яда. Его вытащили оттуда за черные вихры, и Иван Иванович отрубил ему голову… Что с ней делать? Ведь народ в горах считал Кайгородова неуловимым. Убили? Не поверят. А легенду о его непобедимости нужно развеять. Необходимо доказательство. И командир решил отправить голову в Барнаул…

Героический поход Долгих ждал художников слова и кисти. Первым отозвался талантливый живописец, знаток Алтая Иван Иванович Тютиков. Он запечатлел на полотне трагический момент первого спуска, когда командир был вынужден считать до трех. В тридцатые годы детская писательница Клеопатра Гайлит, жена командующего войсками Сибирского военного округа Яна Гайлита, написала для детей повесть об этом беспримерном походе. Тогда же Владимир Зазубрин опубликовал в «Новом мире» первую книгу романа «Горы» и в нем вывел Кайгородова под фамилией Огородова. Между прочим, написал и о том, что голову бандита везли по горным деревням. Это встретило резкую критику. Помнится, Федор Панферов писал в центральной прессе, что такое могло быть только во времена Тамерлана. А вот у Горького эпизод с головой бандита не вызывал сомнения. После прочтения корректуры романа «Горы» с критическими замечаниями на полях Алексей Максимович обратился к начальнику Главлита Борису Волину: «Очень прошу Вас оставить на 15-й стр. сцену с головой бандита, как чрезвычайно ценную эпическую деталь». «Роман же этот, — продолжал Горький, я ценю весьма высоко… вместе с книгой Шолохова это — весьма удачный шаг вперед нашей литературы».

Но вернемся в Катанду 1922 года. Для сопровождения головы Кайгородова была отправлена группа чоновцев. В ее составе оказался и Анатолий Николаевич Шилов.

— Опустили мы голову в кожаный алтайский бурдюк, — рассказывал Анатолий, — и встревожились: днями-то уже пригревало солнышко — испортится башка. Залили самогонкой. Едем верхами. В каждой деревне — остановка. Сбегаются к нам люди. А то и сами созываем народ на сборню, на площадь. Рассказываем о походе через Теректинский хребет. Так и так было дело. Бандюге каюк. Потом запускаем руку в бурдюк и за вихры вытаскиваем башку: «Он?» Видавшие Кайгородова подтверждают: «Он, сукин сын, разбойник!» Опускаем башку обратно. А с нее самогонка-то стекала — в бурдюке стало меньше. Вдруг да прокиснет? До Барнаула-то путь далекий. И требуем самогонки для добавки. Так верхами и доехали до Бийска. А отсюда, само собой, поездом — в Барнаул. В губернию!

Анатолий Николаевич, живой свидетель этих исторических событий, работал у нас несколько месяцев литературным сотрудником, а когда начали дробить округ, его отправили редактором одной районной газеты. Кажется, в Уч-Пристань.

После Великой Отечественной войны он много лет редактировал газету в Тогучинском районе Новосибирской области, сотрудничал в «Советской Сибири» В 1974 году, когда он уже вышел на пенсию, в областной печати отметили его семидесятилетие.

* * *

Память перекидывает меня в наше село Залесово, в дни моей юности. Были ли у нас кулаки? Конечно, были. Но слова такого мы не знали. Мне в деревне не доводилась его слышать. Были у нас зажиточные. Были «крепкие мужики». Были лавочники да перекупщики. Только и всего.

А как хозяйствовали середняки? Помню, отец в свои лучшие годы сеял три десятины пшеницы, две десятины овса, загон льна, загон конопли, ползагона картошки и столько же гороху. Со всем посевом и сенокосом, трудясь, как говорится, до седьмого пота, управлялись родители. Им на подмогу подрастал я. Так в каждом дворе нашей улицы. Но был и такой «крепкий мужик», который захватил земли сколько ему хотелось и засевал до пятидесяти десятин. Ясно, он не обходился без постоянного наемного труда. Настоящий кулак. Один такой на все наше село. Другие помельче.

Наступил для нашей семьи тяжелейший 1914 год. Отца, «ратника ополчения», угнали на войну, и я в одиннадцать лет остался в семье «большаком», как говорилось тогда. Мать ждала прибавления семейства, и на мои плечи свалились все крестьянские заботы. В тот год рано легли обильные снега. Надо было возить с поля корм для скота. Помню, запряг я Рыжуху и поехал на ту дальнюю пашню, где сгорел наш маленький Лаврик. Наложил воз овсяной соломы, заправил бастрык и стал веревкой притягивать к задку саней, а ни силы в руках, ни веса в теле не хватало. Сколько ни старался, а бастрык по-прежнему торчал высоко и веревка не превращалась в тугую струну, как бывало у взрослых да сильных мужиков. Но что же делать? Зимнее солнце уже катилось к закату, вот-вот, поблескивая зелеными огоньками глаз, завоют волки. Надо возвращаться, пока не сгустилась темнота. Взобрался на верх воза, понукнул послушную лошадку. Она тронулась в путь, косо посматривая то одним, то другим глазом на мой лохмато-ненадежный воз, словно не доверяя

малолетнему «большаку». И она не ошиблась. На длинном склоне к речке Скакунке снежная дорога уже была избита в ухабы, и мой воз раскатывался то вправо, то влево. При этом охапки соломы сваливались, бастрык все больше и больше ослабевал, и на очередном ухабе мой воз развалился по обе стороны саней. Смирная Рыжуха, к счастью, остановилась. Пришлось снова укладывать солому и попытаться притянуть бастрык ненадежнее. Неожиданно налетевший ветер рвал мой воз в клочья. А с горы, мимо меня мчался обоз того «крепкого мужика». Десять возов сена. На переднем красовался сын хозяина, бородатый детина в мерлушковой папахе. Думаете, он остановился, чтобы помочь малосильному мальчугану? Нет. Расхохотался во все горло:

— Большак-то, видать, мало каши ел!

И работник на другом возу в тон хозяину отозвался усмешкой.

Так они и промчались мимо меня. А я вернулся домой далеко за полночь. От моего воза не осталось и половины. А чем завтра кормить овечек? Придется отправляться за сеном. Мать, склонившись, обняла меня, заиндевелого, за плечи:

— Большак ты мой большак, бедная головушка! — Утерла слезы и, назвав соседскую солдатку, утешила: — Будешь ездить за кормом с теткой Степанидой. На четырех конях. По два воза нашему скоту.

О «крепком хозяине» я не обронил ни слова. Зачем жаловаться? Не один он такой.

Это подтвердилось весной, когда пришла пора полевых работ. Мать уговорила дальнего родственника сеять хлеб совместно. Выехали мы сначала на его пашню. Я пахал его землю, боронил на семи лошадях. Десятин двенадцать. Вот уже и овес посеян, а на нашей пашне земля все еще ждала пшеничное зерно. Когда же нам-то?

— Успеем, Афоньша. Успеем. Вот еще надо нам ленок… Для льна нам с тобой баба яичек напекла, как на праздник.

Ему-то праздник, а моей матери — слезы. На нашу пашню мы переехали, когда все соседи уже отсеялись. Уродится ли у нас что-нибудь? И не погубят ли осенние морозы наш поздний посев?

«Вот такие они, «крепкие-то мужики»! — подумалось мне в ту горькую весну. — Все для себя да для себя. И побольше!» Обиженные солдатки, бывало, говорили у нас в деревне: «Отольются волкам овечьи слезы».

Все это пришло на память пока мы среди льдин пробирались через Бию, и мысль вернулась к веренице подвод на берегу. Миновала пора вольготной жизни «крепких мужиков». Наступила пора не отмщения, а настоятельной необходимости их

вытеснения из экономической жизни страны, пора замены кулацкого хлеба хлебом колхозов и совхозов. И тут не обошлось без «перехлестов», без «головокружения от успехов».

К тому времени какой-то недалекий, а скорее всего предвзятый статистик подсчитал, что в деревнях, в больших и маленьких, два с половиной процента хозяйств кулацкие. Вот их-то выявляли и выселяли во время первой волны ликвидации кулачества как класса».

Той порой кто-то недобрый подсчитал, что двух с половиной процентов мало, что кулаков в сибирских деревнях якобы больше, процент был увеличен. И вот нахлынула на деревню новая волна. «Лес рубят»… Но что-то больно много щепок. Вот и возле нашей лодки несет и несет щепу на далекий север полая вода…

Многие из нас видели трагическую вереницу крестьянских телег, но не решались говорить об этом вслух. Хотя я знал одного принципиального смельчака. Он ходил с томом Ленина и открывал на подчеркнутых строках:

— Вот же Владимир Ильич писал: в колхоз добровольно! Без принуждения! Без погонялки!

Жизнь моего знакомого была трагичной. Он работал в охотничьей кооперации.

Отличный стрелок. Имел лучшую в городе собаку. Сеттер-лаверак. С подпалинами не черного, а кофейного цвета. Редкость! Весь город любовался ею. «Дианой» звал. Жизнь его шла по крутым изломам. Поверив Ленину, что нэп «всерьез и надолго», насмотревшись, как на сельских выставках вручают премии «культурникам», передовым хозяевам, завел хозяйство, надеялся за породистых лошадей получить премию, а к 1929 году, когда его лишили «права голоса», взвыл от неимоверно высоких налогов.

— П-понимаешь, описали у меня все до нитки, — рассказывал он, задыхаясь от боли и гнева, — н-нехвает т-тридцать рублей, чтобы уплатить н-налог. Стал я г-гол, как сокол! Остается со мной одна с-собака!

И он, отметив в томе Ленина нужные слова бумажными закладками, метнулся в город «искать правду». Верил, что имя Ленина образумит свихнувшихся чиновников, и за него заступятся. А на него покрикивали: «Не суй нам старую книгу под нос. Ленин — вчерашний день. Сейчас за него товарищ Сталин!»

Вскоре наш знакомец привел мне Диану:

— Пусть у вас побудет…

Собака, чувствуя неладное, кинула ему лапы на грудь. Хозяин, прощаясь, как с ребенком, прохрипел полушепотом: «Умница ты моя бесценная!» А нам добавил: «Последняя

животина. Никого у меня больше не остается». Нахлобучил шапку на глаза и юркнул в дверь.

Больше мы его не видели: канул, словно камень в реку.

«Сталин — Ленин сегодня». Эту ложь выдавали за правду, и мы, провинциальные газетчики, бесчисленными одами славословили генсека.

Поэты считали честью сочинять от имени народа стихотворные письма «отцу народов». У нас открылись глаза только после доклада Н.С. Хрущева XX съезду партии, и мы постепенно начали отличать правду от лжи, внедрявшейся при Сталине. А он, вопреки Ленину, демонтируя нэп, все утяжелял и утяжелял экономический пресс на крестьянство.

В те годы я жил далеко от родных мест и потому, не имея личных впечатлений, пользуюсь материалами, собранными директором Залесовского районного музея Алтайского края М.Т. Коноваловым. Михаил Трифонович издал в типографии районной газеты брошюру. Вот что я там нашел:

1929 год. Всюду началось лишение «права голоса», более или менее состоятельных крестьян, то есть куцых избирательных прав. Для чего? Чтобы облыжно всех лишенцев назвать кулаками, представителями «выдуманного класса», как пишет автор брошюры. План сдачи хлеба «доводился с гектара: с колхозов по 7,5 центнера, с середняков по 4,81, с кулаков по 17,27 центнера, а урожайность зерновых была в 1928 году 7,1, в 1929 году 12,6 центнера с гектара». Сдай неуродившееся! Не сдал — отдать под суд, описать имущество и отдать колхозам. Попросту — ограбить среди белого дня. И грабили с прилежанием. Так у семидесятилетнего Зиновия Залесова все имущество, включая единственную лошадь, оценили в 330 рублей. А у «кулачки» Сухаревой в числе конфискованного имущества оказалось «двенадцать аршин холста, срезанного с ткацкого станка» Вот так кулаки!

На одном из поселков шестнадцать хозяев вскладчину купили сенокосилку, начали косить: сегодня одному, завтра другому. Дошел черед до Павла Сухарева. Вечером машину оставили возле его ворот. Утром увидели члены районной комиссии:

— А-а у него — машина. Явный кулак!

После поездки Сталина по Сибири начали свирепствовать прокуроры и судьи. По нашему району было осуждено: «за срыв посевной и коллективизации 94 человека, за срыв сеноуборки и хлебосдачи 64, за самоуправство (?!) 17, за уничтожение своего(?) скота 15. Было конфисковано имущество у 117 домохозяев. Семь председателей сельсоветов были осуждены «за мягкотелость (!) в борьбе с кулачеством».

Подобного погрома крестьянства по всей стране Сталину показалось мало, и он объявил «ликвидацию кулачества как класса на базе сплошной коллективизации». По какому праву ликвидировать многие миллионы крестьянских семей? А без всякого права. Просто он, Сталин, решил ударить по деревне. В числе обреченных, как увидим далее, оказались середняки и так называемые «подкулачники» из числа неугодной местным властям бедноты.

А какой вывод для себя сделали крестьяне? Одни перестали сеять хлеб, другие покинули деревни. Вот и мои родственники, присмотрев нетронутые земли в северном Нарымском краю, бросили жилища и, погрузив пожитки на телеги, отправились за несколько сот километров, чтобы там раскорчевать себе пашню. Естественно в то лето они не могли сдать государству ни зернышка, а сами кое-как прокормились кедровыми орехами. Они даже считали себя счастливыми, избежав позорного грабежа, благословленного «отцом народов». Самовольные переселенцы, чтобы не обнаружить себя, даже не решались отправлять письма, и я продолжаю обращаться к брошюре Михаила Коновалова «Залесовский район, страницы истории».

Вот закинут невод ликвидации кулачества. Улов оказался изрядный: по несколько десятков семей из каждой деревни. Подсчитали по району — 2,89 процента от всего населения. Мало! — прикрикнули высокие чиновники и приказали весной закинуть второй невод, да такой, какой захватит и мелкую рыбешку. Автор подсчитывает: из районного села Залесово — 123 семьи, из небольшой Пещерки — 138, из маленькой Гунихи — 62. А по району 1376 семей. Показатель процентов взлетел до отметки 7,73! Обезлюдели деревни. Сократился посев. А города на долгое время пришлось посадить на карточки.

«Кулацкое имущество, — подводит итог Михаил Трифонович, — распределили в обедневшие уже колхозы, а тряпки отдали бедноте». Подобное грабительство я наблюдал и в горах Алтая. Там великовозрастные оболтусы щеголяли в шелковых байских шубах, каких явно недоставало гардеробу областного театра.

Моих земляков так же, как горемык, ожидавших переправы через Бию, в «скотских» вагонах довезли до Томска. Там загнали в трюмы барж и в низовьях Оби выгрузили на безлюдный остров в районе Парабели, названный «накопителем»; по сути его следовало бы назвать островом смерти. Через какое-то время оставшихся в живых начали на маленьких суденышках развозить на поселение по мелким притокам Оби. Об этом злодеянии я уже рассказал в очерке «Черный ворон» («Сибирские огни», № 2 за

1989 год).

Деревню лишили работящей части крестьянства, и она чахла год от года. Постепенно в самых захудалых деревнях, где уже не было слышно детского голоса, позакрывали школы и магазина. Там остались коротать свой век дряхлые старики да старухи, которые не могли оторваться от дорогих сердцу могил. Чиновники в бесчисленных канцеляриях умирающие выселения занесли в списки «неперспективных» и на этом успокоились. И в этой дреме пребывали до великой перестройки с ее гласностью.

Весной 1931 года Ефим Николаевич Пермитин перебирался в Москву. Его преемником в журнале «Охотник и рыбак Сибири» (так изменили название) стал Никандр Алексеев.

В Сибири он писал стихи преимущественно об охоте. Будучи отличным стрелком по птице, гордился двумя отменными штучными ружьями знаменитых западных мастеров. Той весной направляясь в командировку от Охотсоюза в район Телецкого озера, он остановился у нас в Бийске. За ужином сказал:

— Вот что, Афанасий, довольно тебе корпеть здесь. Перебирайся-ко ты к нам в Новосибирск. Там у нас, сам знаешь, журналы, издательство. Изберем тебя секретарем нашей писательской организации. А Охотсоюз утвердит секретарем своего журнала. Даю слово…

— Здесь у нас квартира. Алтай — рядом, — отнекивался я.

— Ну и что? Привязан ты к своему Алтаю, что ли? — продолжал Никандр Алексеевич. — Да мы из Новосибирска будем давать тебе командировки в горы. Хочешь — от Охотсоюза, хочешь — от писательской организации. Ну, по рукам?

— Так уж сразу? Как-нибудь…

— Не как-нибудь, а сразу.

Нам было нелегко и непросто с большой семьей срываться с места, расставаться с городом, где нам все было мило и дорого.

На обратной дороге Никандр снова остановился у нас. Разговор о моем переезде на этот раз начал исподволь:

— Ты знаешь, у нас под Новосибирском отличная вальдшнепиная тяга! Буквально сразу за Второй Ельцовкой. Да, да. Не хуже, чем на моей Псковщине.

— А здешние охотники говорят, что в Сибири нет вальдшнепов. Я даже читал об этом.

— Врут. Плохие охотники не знают такой птицы. И не представляют себе всей прелести охоты на вальдшнепов. Переедешь — я свожу тебя на тягу. Это же великолепно? Только такой талант, как Лев Николаевич, мог описать. А сибирская тяга, можно сказать, еще не описана. Ну так как?

Мы с женой переглянулись.

— А с квартирой поможем, — поспешил заверить Никандр. — Не сомневайтесь. Через краевые организации. Да и Литературный фонд обещает дать деньги на квартиры…

И я подал заявление об увольнении из редакции газеты, с которой так сроднился.

Это оказалось своевременным, так как предстояло дробление округа на районы с подчинением их краю. И вскоре оно началось.

Районные центры выиграли: их укрепили опытными кадрами во всех областях деятельности, а окружные города многое потеряли: интеллигенция хлынула в Новосибирск. Бийск вдруг стал всего лишь районным центром.

Культурная деятельность пошла резко на ущерб.

Я поднялся на высокое плато, глянул на город, подаривший мне счастливую встречу, которая изменила всю мою жизнь.

Глянул в даль, на синие горы, навсегда расположившие к себе мое сердце. Я не прощаюсь с ними, а говорю: «До свидания». Я вернусь к ним, непременно вернусь. И много-много раз пройду по их тропам, послушаю говор горных речек, поближе подружусь с пастухами и охотниками. Быть может, удастся отыскать знатока мудрых народных сказаний. Нужно отыскать…

В Новосибирске, как всегда, я остановился у Пермитиных, в старом деревянном домике на Обском проспекте. Ефиму Николаевичу до отъезда в столицу было необходимо для работы над эпопеей «Горные орлы» еще раз побывать в горах Алтая, и мы условились: с первыми теплыми днями Пермитины всей семьей приедут в Бийск, а мы с женой и детьми приедем в Новосибирск, и какое-то время, пока нас не выселят, поживем в освободившейся квартирке наших друзей. Тем временем подыщем какое-нибудь постоянное жилье. Хотя заранее знали, что в переполненном городе, ставшем столицей Сибири, это очень и очень трудно, но мы жили надеждой на доброе будущее.

И нам посчастливилось: жену сразу же приняли учительницей начальных классов в школу № 2, в Закаменском районе, а хозяева бывшей пермитинской квартирки согласились не выдворять нас недельки две. А мы рассчитывали: авось проживем и месяц. Той порой… что-нибудь прояснится.

По ночам я в тесной комнатушке начал писать новый роман. На этот раз об алтайцах. «Сибирские огни» в то время находились в руках сибапповцев, а я состоял в организации пролетарско-колхозных писателей, но меня по-прежнему в редакции считали своим и даже напечатали фрагмент под названием «Первая весна». И тут же издательство выпустило его в переводе на

алтайский язык.

Так в трудах, тревогах и заботах начиналась новая полоса нашей жизни. Нам светила звезда по имени Надежда.

* * *

Владимир Зазубрин любил называть журнал «Сибирские огни» костром на снегу. Свет от него, как от маяка, на всю Сибирь-матушку.

И со всех концов необъятного края спешили на огонек прозаики и поэты. Несли в охапках топливо. Кто что мог. Из лесов — дрова и щепки, из степей — кизяки.

Из Барнаула сразу же приехал Глеб Пушкарев, из Омска поспешил юный землепроходец Леонид Мартынов, за ним — Михаил Никитин и его жена Надежда Чертова. Из Красноярска на широких охотничьих лыжах, подбитых лосиным камусом, прикатил Михаил Ошаров. Из далекой глухомани прорвался к костру Николай Анов. Из Иркутска явилась целая дружина во главе с бывалым ссыльно-поселенцем Исааком Гольдбергом. С ним был и славный партизан Петр Петров, и пионерский затейник Иван Молчанов-Сибирский, и юный выходец из русско-бурятской среды Василий Непомнящих. Он принес лиственничные поленья, пахнущие, как и его стихи, лесной смолкой. С алтайских приисков пришагал длинноногий, молчаливый Максимилиан Кравков, чьи папки оказались переполненными золотыми самородками, которых ему хватит на несколько книг.

Было с кем познакомиться, даже подружиться возле зазубринского самовара. Но я сошелся первым делом с Васей Непомнящих. Нас свели вместе не только недавние крестьянские пути-дороги из деревни в город, но и нелегкая судьба: в Новосибирске мы оказались без крыши над головой. И все же мы жили надеждой не столько на счастливый поворот судьбы сколько на Литературный фонд. Этот заботливый дядя обещал со дня на день прислать нашему отделению пролетарско-колхозных писателей порожденные нэпом всемогущие червонцы, еще не успевшие отощать. И нам с Василием уже обещано:

— Будут червонцы — будут и квартиры. Потерпите, ребятки.

А чтобы не осаждали ежедневными, напоминаниями о своем тупике, нас отправили на поиски литературных дарований. На пароходе мы прибыли в пристанской городок, вольной россыпью деревянных домов сродни волостному селу. Одним боком городок прислонился к огромному синеватому камню. Вот он-то и

дал ему имя — Камень-на-Оби. На запад от него расстилалась необъятная Кулундинская степь. Когда-то там колыхался серебристый ковыль да паслись табуны резвых куланов, похожих на жеребят. Русские и украинские переселенцы, распахивая степь, оттеснили куланов на юг, а название, данное кочевниками — Кулановая степь — сохранилось навсегда. В 1925 году по материалам Алтайского горного округа я написал очерк о последней дикой лошади, которую после многочасовой погони на сменных конях поймали первые засельщики, но приручить вольнолюбивую не сумели. Степь распахали, и на вековой целине стали собирать обильные урожаи белотурки, отменной пшеницы, ценнее которой мне не доводилось видать. Хлебопеки не знали лучшей муки, чем из того зерна. Белотурку продавали за границу. На макароны! В урожайные годы пароходы не успевали вывозить. В амбарах переполнились сусеки. Где хранить пшеничное золото? На помощь пришла фирма Хлебопродукт, прислала редкостного умельца. Тот возле самой пристани из сосновых бревен отгрохал громаднейший элеватор, каких не видывала Сибирь. И обошелся без единого гвоздя (их невозможно было достать), как обходились искусные поморские плотники при сооружении чудесных храмов в Кижах. Каменсккие патриоты с гордостью рассказывали: посмотрел умелец на законченный элеватор и сам удивился:

— Мастодонт отгрохал! Деревянный мастодонт!

Мы прошли в тени редкостного сооружения; запрокинув головы, подивились его высоте. Кто же построил такую махину?

— Инженер Кондратюк, — сказали нам патриоты. — На память нам и потомкам. Юрий Васильевич Кондратюк. Редкий человек!

Кондратюк, Кондратюк, — звенело в ушах. — Уж не тот ли, прозванный чудаком?

И вспомнилась мимолетная встреча. Мы втроем — Глеб Пушкарев, Михаил Ошаров и я — шли к центру Новосибирска и разговаривали и разговаривали о первых застройщиках незатейливых домов. Планировка привокзальных кварталов не совпадала с теми, которые примыкала к Красному (когда-то Николаевскому) проспекту. У конца Бурлинской нам придется отыскивать поворот на нынешнюю улицу Романова.

— Какая неразбериха в планировке! — упрекнул Ошаров первых засельщиков. — Тут скорее заблудишься, чем в тайге!

— Ничего, язык до проспекта доведет, — обнадежил Глеб Михайлович.

И вдруг откуда-то слева перед нами мелькнул довольно высокий человек в сером плаще, в помятой фуражке, видать, пропыленной дорожными ветрами. Он шел стремительно, словно

боялся опоздать на важное свидание. Когда он скрылся за углом, Пушкарев с легкой улыбкой, прощающей непонятного чудака, посоветовал нам:

— Запомните фантаста! Инженер. Автор книги, изданной за свой счет. Помешался на междупланетных путешествиях. Новосибирский Циолковский. Фамилия — Кондратюк.

Оказывается, этот стремительный человек приносил в издательство необычную рукопись о полетах на соседние планеты. С расчетами траекторий, с чертежами воздушных кораблей. В редакционном отделе, где работал Глеб Михайлович, полистали рукопись чудака и вернули:

— Неплановых книг не издаем.

— Вот везде так, — огорчился изобретатель. — А как быть? Жизнь не ждет. И межпланетные полеты поторопят.

Издатели не знали, что неугомонный землянин был подбодрен Циолковским и начинающим конструктором крошечных ракет, которого через десятилетия мир будет называть академиком Сергеем Королевым. Неугомонному землянину посоветовали обратиться прямо в типографию. Авось там улыбнется счастье. Одному новосибирскому поэту удалось издать книжку за свой счет. И вот Кондратию Урманову, — слышали такого писателя? — тоже повезло. Правда, он сам, выпускающий «Советской Сибири», наблюдал и за набором, и за верстской, и за печатью. Вдруг, да и вам повезет…

— Да я ничего не пожалею, — обрадовался странный автор, посчитавший, что его подбодрили.

— И ему повезло, — продолжал Пушкарев. — Вскоре же напечатали книгу. В областной библиотеке можете посмотреть обязательный экземпляр. А на жизнь зарабатывает в Хлебопродукте — строит элеваторы.

Да, в трудное время, когда для строительства элеваторов было невозможно достать простого гвоздя, в бессонные ночи в чертежах инженера Кондратюка возникали космические корабли. И он, как многие одаренные люди тридцатых годов, не избежал ложного обвинения «во вредительстве».

Вдохновленный публикацией, конструктор попутно продолжал заниматься и земной темой — спроектировал башенный ветродвигатель. Специалисты считают, что его расчеты пригодились строителям Останкинской телебашни.

Теперь мы знаем, что в лихую годину фашистского нашествия Юрий Кондратюк, находясь в Москве, сразу же записался добровольцем в ополчение и рядовым погиб в первом же бою. Так смерть подкосила гения.

Ясно вижу ту давнюю мимолетную встречу с редкостным

человеком, в своих мечтаниях опередившим время. Он шел тогда стремительным шагом с той стороны, где сейчас площадь его имени и где будет сооружен ему памятник. Он, теоретик космонавтики, непонятым жил среди нас и останется с нами, воплощенный в бронзе. А на его мастодонте — памятная доска: «Самое большое деревянное зернохранилище в мире на 20 тысяч тонн. Построено в 1930 году по проекту и под руководством Ю.В. Кондратюка».

А нам, писателям, непростительный упрек: мимо нашего внимания мелькнул бесследно редчайший человек. Но и посмертно он достоин героического повествования.

1932 год для литературы был переломным: 23 апреля Центральный комитет партии принял решение о перестройке литературных организаций. Было объявлено о ликвидации РАППа. Одновременно прекращали существование и другие литературные организации. Создавался единый Союз писателей, стремящихся участвовать в социалистическом строительстве. И литературная жизнь забурлила, как река в половодье.

Рапповцы переполошились:

— Что же теперь будет?! Как же мы?..

Это означало, что в редакциях перестанут считать полуграмотные зарисовки художественными произведениями.

— Неужели мы, ударники, призванные в литературу, поедем на выучку к попутчикам? — возмущались гордые недоросли. — Да ни в жизнь! Мы же — из гущи народа!

Зато вчерашние «попутчики», как правило, пожилые, опытные мастера художественного слова, воспрянули духом: их теперь перестанут считать «обозниками». Они — равноправные работники пера, и у них будут учиться начинающие из числа одаренных. К этому звал Горький, возглавивший Организационный комитет. Такие комитеты возникли в республиках, краях и областях.

Внимание к литературе всюду возросло, любовь к ней стала всенародной. Помню, когда открывался Первый Всесоюзный съезд писателей (август 1934 г.) московская улица Охотный ряд была запружена читателями, ожидавшими входа делегатов в Колонный зал, самый торжественный в столице. И так в течение двух недель.

Всюду возросли и заботы о литераторах. Нам в Новосибирске был безвозмездно передан двенадцатиквартирный дом, совсем недавно построенный какой-то организацией, надобность в которой миновала. В ту пору были еще искусные плотники, и они смастерили (иного слова не подберу) дом из отборных сосновых

бревен, гладких, сиявших новизной, как восковые свечи, а нарядные наличники, похожие на украинские льняные рушники опушили от крашеного карниза до самого фундамента. Не беда, что рядом с ним, на Енсейской улице, как было положено городам тех лет, блестела изрядная лужа, на которую по весне доморощенные утки выводили свои стайки. Зато большими окнами наш двухэтажный дом красовался на всю Межениновскую, названную по имени инженера, строившего средний участок Великой сибирской магистрали. Эта улица удобно — под горку! — вела к тесно скученным дощатым станционным баракам. Со временем бараки будут сметены бульдозерами и на их месте раскинется площадь Гарина-Михайловского, инженера и писателя, основателя нашего города. А красоту Межениновской дополняли плотные зеленые ворота нашего подворья с непременной калиткой. Просторный квадрат двора был вымощен булыжников, а замыкал его целый ряд сараев для угля, отгроханных из кирпича. Все делано заботливо, даже в полуподвальную дворницкую проведен водопровод — невидаль на всю улицу. Только канализацию не успели провести прежние хозяева.

Было два парадных входа отделанные столярами лишь для наружной красоты. Жильцы пользовались входами со двора. Войдем и мы, оглянем придирчиво. Двери из массивных плах утеплены и обиты черной клеенкой. До беленых потолков без лесенки рукой не дотянешься. В просторных кухнях плиты, в окнах створки и форточки. В комнатах круглые печи в жестяных кожухах, надежные дверки, отлитые на заводе «Труд», закручиваются винтами — тут ни угара, ни малейшей утери тепла. Разгорелся уголь — завинчивай без заботы. В двух квартирах — даже телефоны, тоже невидаль на весь район. Не дом, а сказка по тем временам. Каждой семье по квартире. Вот какие хоромы подарил нам крайисполком. Оставалось только переселить прежних жильцов. Но и с этим не замедлилось. В то время за словом следовало дело.

Мы любили свой дом. В первую же весну посадили возле него тополя. Пройдут годы и на Енисейской улице тополя выпьют лужу, раскинут кроны выше дома.

Мы любили свой двор. Возле угольных сараев, расковыряв булыжник, посадили четыре яблоньки-ранетки, пройдут годы и они, как невесты, оденутся в ароматную фату. В августе начнут наливаться соком яблочки величиной с воробьиное яичко. Кондратий Урманов через окна угловой комнаты второго этажа, похожей на фонарь, увидит: взобрались малыши и рвут с ветками. Заботливый, степенный человек, никогда не повышавший голоса,

он спустится во двор, соберет детей в кружок:

— Ранетки-то еще не поспели. Жесткие. — Потреплет по спине одного, другого. — А ну-ка пробуйте при мне. Правда, не раскусишь! И кислющие. О таких говорят — мордоворот, Верно? Вот то-то же. Потерпите, ребятки, немножко — они зарумянятся, сладости от солнышка наберутся. Тогда я соберу вас всех, и мы с лесенок аккуратно их срежем. И поровну всем вам разделим. Ваши мамы варенья наварят. Вот будет вкусно к чаю. Договорились?

С дядей Кондратием нельзя не согласиться, а то он не покажет перепелочку-калеку, которая живет у него с шинкой на ножке. Говорит, когда поправится малышка, соберемся вместе и выпустим на волю.

Во дворе поставили два столбика, натянули волейбольную сетку. Хотя и невелики команды, но азартные, веселые. Пятилетнему Боре Павлову доверили счет мячей. Сидит, как скворец, высоко. Довольный. Вырастет — на всю жизнь окажется спортсменом.

Зимой пробовали залить каток. Выходили на коньках не только взрослые, но чаще всего ребята. Жена моя из каких-то спорок сшила нашим мальчикам борчатки, подпоясала их красными кушаками. В святки даже пробовали осветить каток самодельными ледяными фонарями. Но двор оказался для катка тесноватым. Зато катушка сделали отличной — мчись до самых ворот, хоть на санках, хоть на куске фанеры. Смех да гомон не утихал до позднего вечера.

…Мы помнили годы, когда во всех деревнях были маслодельные артели, и Сибирский маслодельный союз продавал сливочное масло в Англию. Для этого изготовлялись особые бочоночки. Сибирскией союз прихлопнули. Но мы помнили сытые годы НЭПа. Всюду в селах шумели базары и ярмарки, в городских магазинах было все, что душе угодно. После «великого перелома» прошли считанные годы и вот такое бедствие: словно жуткий ураган оголил, оголодил страну.

Нам было трудно, но мы, читая в газетах победные рапорты «отцу народов», чаще всего стихотворные, даже не подозревали, что на Украине и в Поволжье люди тысячами падали от голода на улицах. Об этом молчало радио, ни словом не обмолвились газеты, от страшной тайне боялись проговориться очевидцы. Она, та жуткая правда, ждала наступления эры гласности.

И все таки мы умели скрашивать жизнь, в особенности для детей.

Но вернемся в веселое новоселье. У распущенного СибАППа

было два молодца из числа ударников призванных в литературу, удивительно похожих на Пата и Паташона из популярных тогда заграничных кинофильмов, долговязый Рахманинов и коротышка Кормушкин. Ни у того, ни у другого не было за душой ни единого рассказа, ни стихотворения. Не было ничего, напоминающего какой-либо очерк. Только заметки в газетах. Зато нахрапистости было предостаточно. Воспользовавшись переездной суматохой, друзья оккупировали одну из просторных комнат в нижнем этаже. В первый же вечер к ним наведался на новоселье поэт Иван Ерошин. У новоселов же не было ни мебели, ни посуды, кроме фанерного ящика из-под спичек да двух консервных банок, заменявших кружки. Как принимать гостя? Новоселы не растерялись. Посредине комнаты поставили опрокинутый ящик, накрыли газетой и насыпали горку табачной полукрупки, раздобытой на базаре. Пригласили гостя к столу. Все трое сели, подогнув ноги под себя. От газеты отрывали полоски бумаги, ловко скручивали косушки и дымили, похваливая табачок. Потом Ваня начал, понятно под аплодисменты, читать свои изящные миниатюры. Но торжество было недолгим — приехали с пожитками законные жильцы. Не растерявшись, два друга перебрались в просторную кухню одной из квартир на втором этаже, устроили нары и на ночь стали накрываться откуда-то появившимся одеялом на двоих. Там они задержалась надолго, и тому помогла всеобщая паспортизация. В районную комиссию по выдаче паспортов почему-то понадобился представитель писательской организации. Кого выдвинуть? Выбор пал на Кормушкина. Довольный этим получением, он аккуратно ходил на службу, там помогал готовить документы для выдачи паспортов. И вскоре оказал редкостную услугу Ивану Ерошину. У поэта не оказалось ни единой бумажки удостоверяющей его личность. Как быть? Запрашивать из Рязанской области, где он родился в конце прошлого века? Дело долгое. Да и уцелел ли там архив деревенской церквушки? И тут Кормушкина осенила оригинальная мысль: «О нем же написано в «Сибирской советской энциклопедии!» Там сказано, когда и где родился». Но ведь энциклопедию к делу о паспорте не приложишь. Но есть же нотариус! Пусть его попро¬сил засвидетельствовать копию с заметки". Так Кормушкин послужил литературе! А его друг Рахманинов не оставил о себе и такого следа.

Мы заботились о своем доме. Литфонд дал нам денег, и мы провели канализацию. Для этого пришлось проложить трубы почти на целый километр. Все хлопоты взял на себя один из жильцов, малоформист, писавший скетчи для цирка под

псевдонимом Егор Ехиднин. Канализация позволила нам устроить в полуподвале свою прачечную. Весною заново покрасили крышу, и дом засиял на всю округу.

А декабрьским вечером 1934 года возле наших ворот затормозил на остановке трамвайный поезд, полный ликующих горожан: первый трамвай восточнее Урала! С мажорным звоном помчался вниз к вокзалу. Для всех праздник. Не только дети, а и взрослые по несколько раз «покатались» по всему маршруту через центр города.

И еще было ликование, когда на вокзале встречали Челюскинцев, спасенных летчиками — первыми Героями Советского Союза! — от ледового плена. В их честь переименовали нашу улицу, и мы гордились новым адресом.

* * *

Тридцатые годы памятны всем. И памятны по-разному. Прежде всего — народным ликованием в дни великих свершений и горестным содроганием от репрессий, обрушившихся на головы всеобщих любимцев, уважаемых соотечественников.

Нам было чему радоваться. Прежде всего, преодолению отсталости, покорению пространств. В степях гудели паровозы Турксиба. Кузнецкий завод, которому было присвоено имя Сталина, выдал первые рельсы (помню, увесистый обрезок рельса долго лежал на столе редактора газеты «Советская Сибирь»), папанинцы проплыли на льдине через весь Ледовитый океан, герои-летчики на слабеньких самолетах того времени вывезли челюскинцев на материк. Они ехали через всю Сибирь, и на каждой станции их встречали митингами. Нашу улицу, носившую имя инженера-путейца, строителя магистрали, назвали Челюскинской. Валерий Чкалов со своими друзьями перелетел, удивляя мир, через Северный полюс в Америку. Одна за другой покорялись советским альпинистам высочайшие горные вершины. На Кавказе добрая сотня отважных взошла на Эльбрус. Их вел и вдохновлял секретарь Кабардино-Балкарского обкома партии Бетал Калмыков…

Сибиряки издавна не привыкли числиться в отстающих. Загорелись сердца энтузиастов — покорим Белуху, высочайшую вершину Горного Алтая.

«Советская Сибирь» из номера в номер давала хронику: альпинистское движение становилось массовым. Штаб альпиниады возглавил Иван Иванович Долгих, бывший легендарный командир чоновского отряда, совершившего

беспримерный в истории зимний переход через снежный Теректинский хребет для ликвидации банды подъесаула Кайгородова. Горные подступы к Белухе он знал со времен боевых походов. Замполитом пошел Житловский, заместитель редактора «Советской Сибири». Начальником штаба назначили капитана Красной армии Скляра. С ним шел взвод бойцов. Помимо ученых и студентов Томска, загорелись сердца горняков Кузбасса, соревновавшихся за право участия в альпиниаде. По распоряжению К.Е. Ворошилова альпиниаде придали два легких биплана 7–2, впервые отправлявшихся в горную местность. С нами (И.И. Долгих включил меня в штаб похода) были два врача, кинооператоры, фотограф, художник И.И. Тютиков, известный на всю Сибирь. Походу сопутствовало всеобщее внимание.

По пути в городах и селах устраивались митинги. В поселок Иня на Чуйском тракте приехал напутствовать нас первый секретарь обкома автономной области Павел Семенович Хабаров, поручил водрузить на вершине Белухи красное знамя.

Туда колхозники привели полторы сотни лошадей с верховыми и грузовыми седлами: от устья Чу начинался сложный путь по едва доступным горным кручам. Нам предстояло перебираться вброд через бурные реки и преодолеть Катунский хребет в непосредственной близости от Белухи. Поход являлся тренировкой, испытанием на выносливость для тех, кому выпадет доля защищать Родину на высоких горных рубежах. Для продовольственного обеспечения хозяйственники гнали с собой шесть быков. И это тоже было новинкой для тех суровых мест.

Лагерем встали у ледника Геблера, вблизи изумительного водопада Рассыпного. Поставили палатки, подняли антенну. В ближайшей долинке расчистили от валунов площадку для посадки самолетов,

у которых потолок был на тысячу метров ниже Белухи; им предстояло лавировать по прилегающим к вершине непроходимым ущельям. Военные летчики блестяще выполнили трудную задачу — вывезли двоих заболевших, а во время восхождения сбросили вымпелы.

У истока Катуни, вырывающейся из-под ледника, нас поджидали мастера альпинизма Данило Иванович Гущин и Александр Федорович Гетье. Оба они, помимо Кавказа, преодолевали грозные вершины Памира. И здесь они уже успели сходить на разведку. При этом во время ночевки на Восточной вершине, когда в долине шел дождь, а на Белухе кружился буран, Данило Иванович обморозил пальцы ног.

Александр Федорович, рассказывая о маршруте, отдал должное красоте Алтая, превосходящей Швейцарские Альпы, а

под конец поморщился:

— Но Седло Белухи — это штучка! Это вам не Эльбрус. Более поганого ледника я не видел. Представьте себе: вы проваливаетесь по пояс в снег и не знаете, что же под вами — лед, или коварная трещина невообразимой глубины?

А Данило Иванович в штабной палатке написал статью для «Советской Сибири». Ее передали по радио: «Подъем на вершину Эльбруса даже зимой значительно легче здешнего. Там требуется только крепкое здоровье да выдержка, а подъем на Белуху требует, кроме того, большого знания техники альпинизма и умения ориентироваться при очень изменчивой погоде. Грозы здесь чередуются с туманами, в чем мы убедились на своем пути на Восточную вершину».

— А мы за правило возьмем — не робеть, — сказал Гетье. — Будем на вершине!

Пока у Данилы Ивановича подживали пальцы ног, все занимались тренировкой, осваивали альпинистское снаряжение. Врачи еще раз проверяли здоровье. Жаль, что художнику Тютикову и фотографу Моторину разрешили подъем только по нижнему ледниковому полю, а Долгих — до вершины Раздельного гребня.

— Да брось ты! — отмахнулся Иван Иванович Долгих от старшего врача Барх-Ахчана. — Зачем же я тогда сюда ехал? Я пойду на Седло. Хочу взглянуть вниз, туда, где отрубил голову бандиту Кайгородову.

— Вам может быть худо.

— Ничего. Три года по этим хребтам за бандитами лазил.

— Но тогда вы были на тринадцать лет моложе. И весили меньше. Сейчас же ваш вес семь пудиков! Никакой снежный мостик не выдержит. Провалитесь в трещину. Получите расширение сердца. А если горная болезнь? Как вас спускать в лагерь?

— Я пойду дотуда, докуда смогу. Вот и все! — заявил Долгих.

Врач повернулся ко мне и под шум водопада Рассыпного шепнул:

— Я знаю: он возьмет силой воли. Прикусит губу и пойдет. Но это ему будет очень вредно. Уговорите: дальше Раздельного нельзя.

Но мы с замполитом не могли уговорить упрямого начальника.

Ночью радисты записали песню, сложенную поэтом Василием Непомнящих на мотив «По долинам и по взгорьям»:

… В голубых горах Алтая,

В льдах, в потоках буйных вод
Учит нас и закаляет
Горный дерзостный поход.

Чтоб потом, когда коварный
Враг пойдет на нас войной,
Мы с геройством легендарным
Отстояли край родной.

По чудесному Алтаю
Выше гор и скал крутых,
Вейся песня боевая
Альпинистов молодых?

На вторую ночь радист разбудил нас в штабной палатке:

— Идите скорей. Скорей, скорей, пока гроза не нагрянула.

— Милый, родной! — услышал я сквозь нараставшую грозу голос жены. — Дети здоровы. Ждем с победой! Всех, всех с победой! Весь город ждет.

Но я для себя полной победы уже не ждал: безжалостные врачи разрешили только на Седло.

Помимо знамени обкома, у нас было два бюста. Как с ними быть? Какой нести на вершину? Ни у Долгих, ни у Житловского, ни у Скляра почему-то даже не было раздумья — конечно, бюст товарища Сталина.

И никто не возразил, не спросил: «А как же быть с бюстом Ленина?» Такое было время. Только обсудили: кому доверить высокую честь.

Решили: нести поочередно, вдобавок к своему рюкзаку. И тут выяснилось, что бюст Сталина такой огромный, такой тяжеленный, что даже отборным силачам не донести до вершины. Что же делать? Взяли пилу и перепилили шею, но и одна голова тяжела. Отпилили затылок. Посчитали, что при сложившихся условиях простится такое кощунство.

Восхождение совершили двумя потоками. Всего на Седло поднялось 84 человека. Там снова медицинский осмотр. И на Восточную вершину получили разрешение только 43 альпиниста. В числе их оказалось восемь алтайцев, осмелившихся потревожить святилище горного духа Катун-баш (головы Катуни). Правда, не обошлось без неприятности. При спуске четыре человека покатились по крутому склону и подбили вторую связку. К счастью, накануне прошел мягкий снег и замедлил скорость падения. Это и спасло оборвавшихся. Все остальные спустились

благополучно. Отрапортовали. И по радио получили поздравления: от секретаря крайкома партии Эйхе, председателя крайисполкома Грядинского, от секретаря обкома Хабарова. А известный участник Октябрьских событий Николай Крыленко, в те дни еще возглавлявший альпинистов всего Советского Союза, поздравил нас со значками «Альпинист СССР».

Пришла пора прощаться с покоренной Белухой. Зарезали последнего быка, выдали мяса на обратную дорогу основной группе, которая пойдет по прежнему пути. А штабная группа с учеными решила идти через курорт Рахмановские ключи и пограничный Кош-Агач. Иван Иванович распорядился, чтобы хозяйственники отложили говядины, по крайней мере, на одни пельмени, которые он умело готовил в пути.

И тут вспомнили про бюст Ленина. Не нести же его обратно. На месте опустевшего лагеря сложили неболъшую каменную горку и на нее поставили маленький, как бы настольный, бюст.

Душевная боль щемила сердце: Сталин там, наверху, а Ленин… Тут, внизу. У подножия горы.

Налетит первый буран, раскидает мелкий булыжник и все смешает с валунами ледниковой морены. И не останется следа…

Мы, вздохнув, молча надели шлемы и пошли заседлывать коней.

Об этом походе я написал книгу «Белуха». Вот сохранившийся экземпляр. Альбомный формат. На плотном переплете серебряный абрис двуглавой вершины. Пожелтевшая от ветхости бумага. Страничные акварельные вкладки И.И. Тютикова. Фотографии И. Моторина, Д. Гущина, летчика И. Мухина. Казалось бы, добрая память на многие десятилетия. Но, на беду, в книге были вкладки из тонкой папиросной бумаге, на которой полиграфисты любовно оттиснули карминной краской приветствия Эйхе, Грядинского, Крыленко, кого ко времени выхода книги уже не позволялось упоминать. Было наложено табу и на доброе имя П.С. Хабарова, упоминаемого в тексте, и книга погибла.

С глубоким душевным чувством я упоминаю имена этих деятелей, и мне представляется, что они отчеканены на скрижалях века.

А память о нашей альпиниаде полвека живет в народе. Советские люди с гордостью отдавали должное отважным покорителям высочайших вершин мира. В таких труднейших походах мужали будущие защитники Отечества. Это они, советские альпинисты, сбросили фашистскую свастику с вершины Эльбруса, очистили священную гору от погани.

С годами популярность Белухи возрастала. Ежегодно у ее северного подножия возникает международный альпинистский лагерь в верхней долине Ак-Кема, где возвышается вертикальная, километровой высоты стена, увенчанная седловиной с двумя пиками.

Хотя каждое лето с разными результатами штурмуют Белуху с севера, эта стена еще никем не взята. А мне жаль, что международный лагерь из-за дальных и трудных подходов располагается не у южного подножия. Именно оттуда, от ледника Геблера и в особенности с двух берельских перевалов открывается самый величественный, самый чудесный по исключительной красоте лик высочайшей вершины Русского Алтая. Мне ни на Кавказе, ни в тирольских Альпах не доводилось видеть ничего равного. Очаровательную Белуху нельзя не полюбить. Жаль, что за полвека даже не было попыток предпринять что-либо подобное той, нашей первой массовой альпиниады.

Белуху увековечил на своих великолепных полотнах талантливейший художник-алтаец Г.И. Чорос-Гуркин, ученик великого русского живописца И.И. Шишкина. Еще в 1908 году Григорий Иванович подходил к подножию ледяной красавицы с разных ее сторон, но и он преклонялся перед редкостным видом с юга. А она, капризная красавица гор, очень часто прячущая свое лицо за облачным покрывалом, еще ждет своего мастера кисти.

По древнему народному преданию наша могучая Обь рождена счастливым браком богатыря Бия (так по-алтайски) и женственной Катуни, дочери Белухи. И наша альпиниада закончилась на обском просторе. Пароходик, присланный за нами, описав полукруг по реке, подходил к верхней пристани. Мы в полной альпинистской форме выстроились по борту. А на берегу уже гремел оркестр. Вся набережная была переполнена встречающими, даже остановилось движение по Большевистской улице. В руках многих колыхались на свежем ветру красные флажки. Оркестр на время умолк и начался митинг. А я отыскивал глазами своих. Где же они? Не могли не придти в такой праздничный день. Да вон же они! На Зине ее любимая белая панамка. На Женечке новое платьице, на мальчиках матроски, тоже новые. Подготовились к празднику! Вот они отыскали меня глазами, разулыбались. Дети даже подпрыгнули от радости. Жаль, что никого из родных не пустили на борт до митинга. Да так и должно быть по правилам официального праздника.

Минуло полвека, и 24 апреля 1985 года участники

альпиниады, здравствующие в Новосибирске, вспомнили свою молодость и собрались у меня в Издревой за круглым столом. Трудовые и ратные свершения моих гостей были отмечены знаками отличия, включая фронтовые ордена и медали. Встретились и обнялись: Валентина Иосифовна Ольшевская, Вера Васильевна Сбоева, Иван Андреевич Герус и Лев Николаевич Кузьмин, который после нашего похода несколько раз водил молодых альпинистов на Белуху с юга.

Вместе с ними приехали молодые туристы, в чьих сердцах разгорались искры альпинизма: Юрий Константинович Третьяков, Валерий Васильевич Говор, Николай Николаевич Роцкий, Любовь Леонидовна Ильвес. Она, деятельная и беспокойная, уже побывала в районе Белухи и привезла мне в подарок эдельвейс, мало чем уступающий тем, который удается входитьна вершинах Альп.

С немеркнущим чувством вспоминались нам, бывалым, яркие эпизоды давнего восхождения. А молодые гости привезли с собой размноженный фотоплакат о нашей альпиниаде и рассказали, что в честь ее пятидесятилетия организуется звездный поход: альпинистские группы из двенадцати городов Сибири и Казахстана пойдут на штурм Белухи с разных склонов и после победы все встретится у ледника Геблера.

Валерий Говор, перелистав нашу «Издревинскую летопись» и обратив внимание на запись Сергея Михалкова, понятно, стихотворную, на новой странице написал красной шариковой ручкой:

Мы не пишем стихов,
Как Сергей Михалков,
Но всегда и везде
Утверждать не устанем,
Что в лесу, в Издревой
Есть для нас всех родной
Дом, где сердце свое мы оставим.
Пусть Белуха грозна,
Не смутит нас она,
И мы смело заявим вам, братцы:
Пусть мелькают года
Наша память всегда
Молодыми поможет остаться!

А в начале августа пришла из Барнаула телеграмма: «Дорогой Афанасий Лазаревич, наша группа в девять человек выходит на маршрут. Идем к Белухе. Подойти планируем двенадцатого.

Люба».

Им, молодым альпинистам, будет гораздо сложнее: им не дадут лошадей. Им предстоит через Катунский хребет пройти пешком, переправляться в брод через бурные и холодные горные реки. Для них никто не погонит быков, чтобы в пути оказалось достаточно говядины. Им придется довольствоваться консервами да сухарями. И все альпинистское снаряжение придется нести в тяжеленных рюкзаках. Им будет тяжелее, но энтузиазма у них не меньше. Одно облегчение — пойдут по следам первопроходцев.

Через две недели, когда миновала непогода, навалившаяся на Сибирь, пришла вторая телеграмма:

«Афанасий Лазаревич! Маршрут пройден. Белуха взята. На шестнадцатое августа поднялись сто пять человек. До встречи. Люба».

Горы могут не только подружить, но и породнить. Люба, найдя в походе счастье, вернулась Щербининой. Рядом со своим Сашей.

* * *

Добрые подарки — вехи на пути жизни.

Бережно достаю из шкафа приятную сердцу роскошно изданную в 1935 году в издательстве «Academia» книгу М.Е. Салтыкова-Щедрина.

«История одного города». Она в плотной коробке, у нее альбомный формат, массивный темно-красный переплет с тиснением, мелованая бумага, талантливые автолитографии А.Н. Самохвалова. Такую мог купить только человек, бесконечно влюбленный в книги. Меня она волнует, будоражит память. Лучшего подарка не отыщешь!

В книге особая закладка — узенький листок плотной бумаги, а на нем приклеен аккуратно вырезанный профиль Зины с какой-то фотографии. Прямой, четко обрисованный нос, волнистые волосы, собранные на затылке в узел. А ниже строчки, поучительски каллиграфические: «Пусть эта книга напоминает тебе о тех моих счастливых минутах, в которые я тебе дарила мои скромные подарки. Зинаида. 5 ноября 1935 года». В канун моего дня рождения. Она никогда, даже в самые трудные времена не забывала об этом дне. И моя рука уже норовила написать: «Лучший из ее подарков». Да нет, много их, для меня самых ценных. И все они не случайные, заранее отысканные где-то и, главное, связанные с моими интересами, даже замыслами в работе.

Вот маленький, настольный, отлитый из нержавеющей стали бюст Льва Толстого. Вот застекленный фотопортрет Мичурина. Этот подарок напомнил о тех годах, когда я писал роман «Сад». А вот по соседству с цветной фотографией теплохода «Победа», на котором мы с Зиной плыли вокруг Европы, висит самый, самый… Да, самый примечательный подарок — скульптурный, оттиснутый в металле портрет Владимира Ильича. Жаль, что на лицевой стороне нет фамилии скульптора. Снимаю со стены, смотрю на обороте: там только три буквы — ГИЗ. Вероятно выполнен по заказу Государственного издательства для книголюбов.

Когда он был подарен? Вероятно в середине тридцатых годов. Заметив, что я исподволь собираю вырезки для статьи «В.И. Ленин в творчестве народов Сибири», Зина как бы подбадривала: «Да, да, о нем-то и надо писать». А что писать, кроме задуманной статьи? Что подскажет сердце, что будет по силам. Конечно, в те годы я даже и не смел думать о романе, посвященном его жизни и великим делам. Да и она не предполагала, что со временем будет

перепечатывать для меня многое из комплекта «Искры», из газет и журналов, выходивших на рубеже века, из архивных документов о народной жизни, о самом Владимире Ильиче, о его друзьях и недругах, о рабочих кружках и становлении партии нового типа. Все это придет позднее. Но в ее сознании, несмотря на драматические потрясения тех лет, наступали решающие перемены. Мы жили с думами о Ленине.

Однажды директор второй железнодорожной школы, где Зина вела начальные классы, Алексей Петрович Супонин попросил ее после уроков остаться для разговора наедине. Закрыв кабинет поплотнее и испытующе глядя в ее глаза, он спросил не думает ли она о партии? Не пора ли ей…

— Ой, что вы! — вырвалось у нее, и кровь горячей волной прихлынула к лицу. — Много раз… Но меня ведь…

— Думаете могут не принять? А отчего такое опасение? Подвигайтесь-ка поближе к столу, потолкуем по душам.

— А может… Лучше завтра…

— Можно и завтра. Только я не вижу повода вам-то волноваться. Мы же вас знаем. И в райкоме меня спрашивали: почему в ячейке мала женская прослойка?

— Ну, если только для прослойки… Тогда я сразу…

— Да нет, нет. В райкоме, — подчеркнул директор, — читали ваши статьи в газете да, и вообще… Лучше уж сегодня. А то вы не уснете до утра. А в школу нужно с ясной головой…

Алексея Петровича Супонина по тем драматически-сложным годам считали смелым человеком. В школе у нескольких учительниц были арестованы мужья. Чуть ли не половина коллектива — «жены врагов народа», будто он, Супонин, специально подобрал и «пригрел» таких.

— Не подбирал, конечно, — ответил проверявшему кадры с особой придирчивостью. — А увольнять их не буду. Ни одной.

— Ну, ну… — проверяльщик ужесточил голос. — Смотри. И думай. Ведь — жены. Могли участвовать. Не зря же таких из квартир выселяют, город очищают. Как бы тебе дело не повернулось боком…

— А какое «дело»? Надо думать, говорите? А я тысячу раз подумал. Ежели по-человечески, то дело одно — у всех у них ребятишки. Сегодня матерей уволю — завтра детишек кормить нечем. С голоду перемрут.

— Вон куда заворачиваешь! Клевету плетешь. Никто у нас с голоду еще не умер.

— Если так… — у Супонина перехватило горло. — Увольняйте меня. Лучше в лесорубы пойду, а пострадавших баб не уволю.

— Какой ты сердобольный!

— Какой уж есть…

И вот в такой-то обстановке — заявление Зинаиды Коптеловой о вступлении в партию? Первую рекомендацию ей дал сам Супонин. Вторую она получила у соседки по квартире, жены писателя Николая Кудрявцева, которая сама была учительницей, только в другой школе. А к кому третьему обращаться? Мы вместе пошли к Никандру Алексееву. Уж он-то знает нас обоих. Еще в Бийске бывал у нас в семье. И здесь, в Новосибирске, много раз пил у нас чаек. Случалось говорить о многом, в особенности вдвоем с ним у охотничьих костров.

Он жил на Бийской улице, в глубине двора, в маленьком деревянном домике, принадлежавшем охотничьи кооперации. Перед его крылечком был прилежно обработанный огородик. На кустах помидоров, зрели крупные рубиновые плоды, выращенные из семян, которые он взял у нас в Бийске. Мы вошли в малюсенькую кухоньку. Нас встретили по-дружески. Никандр, догадываясь о цели нашего визита, провел гостью в кабинетик и поплотнее закрыл дверь. Дать кому-либо рекомендацию в партию в те драматические годы было делом особенно ответственным и даже рискованным. Вот и нужно было расспросить Зину о многом. Вступление в партию в те годы являлось ответом на урон, который она несла при многочисленных арестах «изменников и предателей», как считали многие. И Зина, и я безгранично верили Сталину, восхищались его жизнью, его краткими речами, весомыми словами, которые он, словно каменщик, укладывал в строго очерченное здание. Позднее поэт точно выразит наши думы: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Мы верили потому, что в своем увлечении строительством новой жизни забыли его слова, сказанные 17 июля 1930 года на ХУ1 съезде ВКП(б):

«Некоторые товарищи думают, — говорил он, — что главное в наступлении социализма составляют репрессии, а если репрессии не нарастают то нет и наступления. Верно ли это? Это, конечно, не верно.

Репрессии в области социалистического строительства являются необходимым элементом наступления, но элементом вспомогательным, а не главным».

Беда в том, что этот страшный элемент становился главным, но мы продолжали верить в Сталина.

В сознании преданных родине людей он уже был вождем и учителем. Единственным. Его даже называли отцом родным, сравнивали с солнцем. На первых полосах газет каждый день появлялись рапорты не Центральному комитету партии, а лично

ему. Наши поэты Никандр Алексеев и Василий Непомнящих написали своеобразные оды — пространные письма. Один от горняков Кузбасса, другой от народа Горного Алтая.

А когда закрадывалось сомнение в законности исчезновений еще вчера именитого в партии человека, Зина говорила: «Сталин не знает. Нет, нет, не знает он. Это бесчинствуют другие. А когда узнает, разберется». Поступали жестоко и безжалостно. Но, видимо, так необходимо. Вон даже Горький назвал статью: «Если враг не сдается, его уничтожают». А уж Горькому-то нельзя не верить.

Но главное — трагическое соседствовало с героикой. Из небытия встал Кузнецкстрой. Радовала страну Магнитка. Как на великом торжестве гудели паровозы Турксиба. Были челюскинцы. Были папанинцы. Были удивительные перелеты наших авиаторов через Ледовитый океан в Америку. Менялись сами люди. В кишлаках Средней Азии горели на кострах скинутые паранджи. По призыву подруг садились девушки за руль трактора. По рукотворным каналам, прорытым в бывших пустынях, струилась живительная вода. Чудо за чудом! Откуда это? Кто вдохновил на трудовые подвиги? ОН. Разве можно было не преклоняться перед ним?..

… За филенчатой дверью шелест голосов.

Вера Ивановна, глянув на дверь, махнула рукой:

— Видать, надолго секреты разведут. А мы самоварчиком займемся.

Подожгла березовые лучинки, поверх них положила древесный уголь, сунула трубу в печное отверстие, и самовар ожил, забормотал. Вера Ивановна провела меня в столовую. Там, похвалив дочку Леночку за прилежание, погладила ее белые, как лен, волосы:

— В отца пошла: французским увлекается. — И попросила. — Прочитай, доча, дяде французские стихи.

Леночка встала, как в школе, и зазвенел ее чистый голосок. Прочла одно стихотворение, второе… Самовар в кухоньке, остывая, умолк.

— Придется подживить…

А приглушенный разговор в кабинетике все продолжался. И Вера Ивановна, вернувшись, загремела посудой:

— Я вам положу дичинки, хоть заморите червячка. Не до полночи же ждать их. Ника как раз вчера перепелок принес. Перед отлетом — жирные-жирные.

Я, поблагодарив, отодвинулся от стола. Ведь неизвестно как закончится разговор. Может, Зина расстроится, заторопится домой и придется смущенно извиниться за беспокойство.

Наконец, дверь распахнулась, вышла раскрасневшаяся Зина, прижимая к груди дамскую сумочку, в которой, — я догадывался, — хранился, становясь заветным, листок с такой ответственной рекомендацией. За ней — улыбающийся Никандр, как видно, довольный ответами на его взыскательные и дотошные вопросы.

— Извини, Вера — Никандр тронул локоть жены. — Самоварчик-то наверно…

— Да, подживляла уже два раза.

— Вот спасибо. Доставай дичинку. — И повернулся ко мне. — А мы так поговорили по душам, что даже забыли на часы взглянуть.

Но главные волнения для Зины были впереди, и она на каждый телефонный звонок спешила к аппарату, висевшему в коридоре нашей квартиры. Не из райкома ли? Говорили, что вот-вот пригласят на беседу. Тревожно на душе: о чем там будут расспрашивать? Конечно, не только о школьных делах.

А той порой в райком посыпались анонимки. Это не было случайностью. Волна анонимок начинала превращаться в бедствие. «Доброхоты» и «бдительные патриоты» действовали по дьявольскому правилу: если нечего «наклепать» на неугодного человека, так можно и пофантазировать, только бы «насолить покрепче». И на соль не скупились.

Нам анонимки добрый десяток лет усыпали путь шипами да колючками. Любители этого постыдного эпистолярного жанра писали не только в Железнодорожный, но и в Центральный райком города, опекавший ячейку писательской организации. И даже в Москву писали Алексею Суркову, одно время возглавлявшему Союз писателей страны.

Алексей Александрович Сурков, знавший меня по многим встречам, даже прислал письменное внушение. А теперь, когда Зинаида Коптелова вступает в партию, для анонимщиков открылись новые возможности «наворачивать» что-нибудь политическое. Анонимки, как семена липучки в дороге, цеплялись за одежду, тащились всюду. И не так-то просто было отряхнуть их.

Ее приняла седеющая женщина в черном железнодорожном кителе со значком «ударника» в петлице. Лицо у нее бледно-постное, в уголках тонких губ залегли морщины, глаза холодные, как льдинки, голос прокуренно-хриплый. Строго покашливая, она долго расспрашивала и о матери, и о дедах с бабушками. А дотошливая службистка, продолжая покашливать, требовала подробностей и полной откровенности. Лишь после того, как Зина мимоходом упомянула, что отец перед последним арестом

прятал от полиции в ее детской кроватке типографский шрифт, строгая райкомовка вдруг перестала покашливать и в глазах у нее затеплились добрые искорки:

— С этого бы и начинала, — упрекнула она и тут же подбодрила. — Ну рассказывай, рассказывай дальше. Откуда тот шрифт?

— Говорят, Сергей Миронович где-то раздобывал.

— Киров?! Так что же ты до сих пор молчала? О Кирове нужно рассказывать всем, особливо детям в школе. Ты знаешь, какой это был человек? Любимец партии! Первый после Ленина оратор! Без всякой бумажки. Получше вашего Луначарского. В Ленинграде его все звали Миронычем. Знаешь, как он выступал на семнадцатом съезде? У всех сердца зажег. Знаешь?

— Читала.

— То-то же! Да, а ты как повышаешь свой идейно-политический уровень?

Зина начала рассказывать о политкружке, но райкомовка прервала:

— Это я знаю. Выступаешь. Держишь линию. А как ты сама? Как постигаешь «Краткий курс»?

— У меня вот, — Зина приоткрыла сумочку, — конспект с собой.

— Читать мне некогда. Давай на словах. Освоила?

— До четвертой главы дошла.

— Ну вот и у тебя на ч е т в е р т о й заковыка. А я надеялась, думала — учительница! В пример поставлю, а ты…

— Уж очень сложно.

— И для тебя с л о ж н о. Но это же… — Райкомовка привстала, распрямляя затекшую спину. — Четвертую главу писал сам товарищ Иосиф Виссарионович Сталин! Надо воспринимать не только умом, но и сердцем.

— Да я принималась много раз…

— А ты каждый день. С утра. На свежую голову.

«Как молитву! — чуть было не вырвалось у Зины, — Как «Отче наш»… — Но она вовремя сдержалась, качнула головой. — Учту.

Райкомовка, закурив, отбросила спички на стол:

— Все у нас с тобой, девка, шло гладко, хоть сейчас на бюро докладывай, а… — Вздохнув, шевельнула пальцем желтую папку. — А вот тут есть на тебя… Словом, есть материальчик…

Зина ждала помех — решающий шаг не обойдется без чего-нибудь недоброго. Недруги наплетут черт знает что! Наверняка опять об отношении к Нине. Ничего. Собеседница, хотя и строгая, а поймет. Только зачем она дымит? Отмахнула смрадную тучку. А

та, погрозив дымящейся папиросой, еще раз шевельнула папку:

— Серьезный материальчик. Острый.

— Анонимка?

— Не в этом дело. Тут… Поступок твой требует особой откровенности. А ты даже в автобиографии ни словом не обмолвилась! — И после устрашающей паузы райкомовка резанула. — Начистоту: какая у тебя была связь с врагом народа Гайлит?

Убийственный вопрос прозвучал неожиданно и так нелепо, что Зина не смогла удержаться от хохота:

— С Гай-лит?! — достала платок из рукава, чтобы утереть брызнувшие от смеха слезы. — Так это же… Это уму недостижимо!..

— Тут не до смеха. Нет, нет, я предупреждаю. — Райкомовка, смяв папиросу, погрозила на этот раз карандашом, готовая записать признание. — Отнесись со всей серьезностью. Тут только чистосердечно… Понимаю, не с самим, конечно, Гайлитом. Но это дела не меняет: «Муж да жена — одна сатана». А с его… Ну, как ее?.. То же дал бог имечко… Совсем выпало из головы…

…Позднее мы с Зиной прочитали в «Сибирской советской энциклопедии»: доброволец Ян Петрович Гайлит, сын крестьянина Лифляндской губернии, пришел в Сибирь с Пятой Армией. Был ранен. За личную отвагу командирскую смекалку награжден орденом Красного Знамени и золотыми часами.

Его бригаду, входившую в 26 стрелковую дивизию, за стремительный натиск белогвардейцы называли «бешеной». Однажды на подступах к Петропавловску «при набеге на одну из деревень бригада Гайлита разгромила 13 дивизию Колчака и, помимо другого оружия, захватила три орудия.

О доблести командира мы в № I «Сибирских огней» за 1935 год напечатали статью поэта и беллетриста Георгия Павлова, пришедшего в Сибирь с той же Пятой Армией: «Как полководец, Гайлит действовал неизменно решительно, с огромной настойчивостью, с колоссальным волевым напором. И все его планы были продуманы чрезвычайно тщательно, с учетом всех подробностей обстановки местности, а также своих и противника сил. Его бригада проявила в боевых действиях те же качества: смелость и стремительность удара, исключительную волю к победе. Потом Гайлит, прославленный герой гражданской воины, был комиссаром дивизии, помощником командующего армией. После окончания командно-академических курсов высшего командного состава Гайлита снова направили в Сибирский военный округ, ставший для него родным. Мне вспомнилось, как он, командующий Сибирским военным округом, на резвом рыжем

скакуне принимал парад войск на площади Ленина, как обнадеживал речью с трибуны. Тогда думалось: войска в верных руках. Так неужели же такой человек мог изменить? «Враг народа». Невероятно. Невозможно. Какая-то жуткая ошибка.

В страшные годы мы не знали правды, открывшейся для народа позднее. Оказывается, фашистская разведка подбросила Бенешу фальшивку с клеветой на маршала Тухачевского и других наших командармов.

Бенеш переслал фальшивку Сталину, оказавшемуся на редкость подозрительным и жестоким. И. вот накануне фашистского нашествия началось невиданное и мировой истории истребление командного состава своей же армии. После восстановления гласности я прочел в одном из писем Константина Симонова, написанном еще в 1964 году: «Даже арестовав или, скажем, санкционировав аресты трех маршалов (из пяти, — А.К.) и почти всех командармов, почти всего цвета армии, Сталин не пожелал лично допросить ни одного из этих людей, так же, как не пожелал в то время лично поговорить ни с одним из арестованных и просивших его о свидании крупных политических деятелей… очевидно, что он не искал и в этом вопросе правды, что почти поголовная смена руководства армией входила в его планы. Эта судьба ожидала почти всех людей, составлявших в 1936 году верхушку нашей армии, за исключением (если о фигурах первой величины) Ворошилова и Буденного». («Книжное обозрения» 5 августа 1988 года).

Страшный гром ударил и по Яну Петровичу Гайлиту. Вначале его из родного военного округа перевели в Свердловск. Видимо, душегубам Ежова там было проще расправиться с ним. Так и случилось.

Жена Яна Петровича Клеопатра Никифоровна Гайлит, высокая, полная круглолицая, бывала на всех наших литературных собраниях, в журнале «Товарищ» напечатала свои рассказы для детей, а в 1934 году на краевом съезде писателей выступила с докладом о детской литературе в Сибири.

Она начинала писать и для взрослых. Так в «Сибирских огнях» в том же 1934 году появились ее записки с колхозных полей «Побеждают большевики». Вскоре, подбодренная читателями, принялась за довольно сложную и очень нужную тему о героическом переходе чоновского отряда под командованием Ивана Долгих через снежный Теректинский хребет, в результате которого была разгромлена крупная и весьма опасная банда подъесаула Кайгородова. Клеопатра Никифоровна была знакома с героем этого похода и писала документальную повесть по его устным воспоминаниям. Поставив последнюю

точку, она попросила меня прочесть рукопись. Повесть в целом ей удалась, нуждалась лишь в небольшой стилистической правке. Издание этой книги, на мой взгляд, было необходимо, в особенности для юных читателей.

Для беседы по рукописи Клеопатра Никифоровна пригласила меня к себе:

— Приходите с женой, — добавила она. — Я хочу с ней познакомиться. Чайку попьем, поговорим.

Гайлиты жили на Красном проспекте, недалеко от штаба Сибирского военного округа, в скромной квартире второго этажа маленького кирпичного дома. Хозяйка ждала нас. На столе парил самовар. Мы с Клеопатрой Никифоровной перелистали рукопись и пересели к столу. Отпивая чай, Зина хвалила смородиновое варенье, в то время довольно редкое, к тому же искусно сваренное самой хозяйкой. Потом они, сидя на диване, рассматривали вышивки.

Через несколько дней Гайлит прислала за ней машину, и они съездили на заседание одного из женсоветов…

Зина умолкла.

— И это все?! — удивилась райкомовка. — И больше она, эта самая… Тьфу! Сразу и не выговоришь. Эта Кле-о-пат-ра не вовлекала?..

— Да никаких попыток с ее стороны… Не звонила, не приглашала…

— Да ты не волнуйся. Говори все.

А не волноваться в те трагические годы никто не мог: по стране катился чудовищный, страшный по своей неизбежности каток репрессий, подминая под себя видных деятелей во всех областях жизни, порой даже далеких от политики. Люди проводили бессонные ночи, опасаясь что и к ним могут постучать в дверь, или раздастся надрывный женский плач в соседней квартире. Каждое утро шепотом передавали, кого увезли из их дома. Ограниченные юмористы «острили» в печати: «Сталинский нарком Ежов берет врагов народа в ежовые рукавицы». Помню, приезжал в город «всероссийский староста» Михаил Иванович Калинин, на торжественном заседании в театре «Красный факел» вручил краю орден Ленина. Принимал орден председатель крайисполкома Грядинский. Один из художников, откликавшихся на события дня, решил запечатлеть торжество на таком парадном полотне, за какие одаривали Сталинской премией. Но еще не успела высохнуть краска на полотне, как Грядинского не стало. Художник не растерялся — устранил портретное сходство. А через день исчезло несколько человек, сидевших в президиуме, автор переписал их всех, заменив неизвестными личностями.

Аресты продолжались — переписал третий раз. Под конец убедился, что ему не успеть за трагическими переменами.

Не избежала безвинной кары и Клеопатра Никифоровна, только потому что была женой оклеветаннаго. А сына отправили в детский дом. Так в грозу несправедливости рушились семьи, страдали дети. Многие втайне недоумевали: «Неужели столько врагов?! Да они же работали рядом с нами. И как работали! Миновала бы мою семью грозовая туча».

Зина оборвала свой рассказ на словах об исчезновении Гайлита из города.

— Н-да, — проронила строгая райкомовка и после короткого раздумья отодвинула папку. — На бюро во всем разберутся. Скажу тебе, наш первый как-то проговорился, что он анонимки не признает.

Хотя в то время все еще полагалось ограничивать прием в партию из среды интеллигенции, большинство членов бюро райкома проголосовало за прием в кандидаты Зинаиды Коптеловой. А через год ее приняли и в члены партии.

Рукопись Клеопатры Гайлит в типографии была набрана, но трагическая гроза вынудила рассыпать набор. Юные читатели лишились нужной книги.

В нашем доме почему-то не было ни одного его изображения.

* * *

В ту весну прогремела ранняя гроза. Ярые молнии, сотрясая громом все окрест, беспрерывно раскалывали иссиня-черную тучу. После первых же ударов хлынул косой град, крупный, как яйцо ворона, и повыбивал стекла в домах.

Но на заре лета закрыла небо коричневая туча, навалившаяся на страну с запада. Все ждали — по радио выступит Сталин, добавит уверенности в отражении фашистского нашествия, но он промолчал. Почему? Что с ним? И в такую решающую пору? Мы, понятно, не знали, что он впал в депрессию. Нездоров? По радио выступил Молотов, сказал: «Наше дело правое. Мы победим!» А Сталин продолжал молчать. А когда наконец-то объявили его речь, по радио, вначале было слышно: льется вода, и графин позванивает о стакан. Дрожащий голос впервые назвал нас братьями и сестрами. Он все еще был потрясен случившимся. Явно — не ждал грозы. Продолжал верить в договор о ненападении. И приказал не верить нашим разведчикам, которые своевременно предупреждали — Гитлер приготовился к внезапному вторжению.

В душе мы опасались коричневого соседа, но в ту пору не знали о грозовой туче, приготовившейся закрыть небосклон. Тайное узнали только спустя многие годы. Оказалось, что послушная рука накануне выводила вечным пером на листе секретной папки: «В последнее время многие работники поддаются на наглые провокации и сеют панику. Секретных сотрудников «Ястреба», «Кармен», «Алмаза», «Верного» за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль, как пособников международных провокаторов, желающих поссорить нас с Германией. Остальных строго предупредить». Внизу росчерк «Л. Берия. 21 июня 1941 года».

До вероломного нападения оставалось несколько часов. И первые же огневые часы внесли перелом во всю жизнь страны, во все наши семьи. На нашей великой магистрали загремели поезда

На запад мчались эшелоны сибирских стрелковых дивизий, навстречу — составы с заводскими станками и рабочей гвардией. На пустырях спешно возводились заводские корпуса. Еще не было крыш над головами, а военпреды, готовые к приемке, уже торопили: «Давай, давай!» Давай, Сибирь, самолеты, стереотрубы, снаряды и патроны! Население города сразу же удвоилось. Строились бараки и землянки. Во всех квартирах появились новые жильцы. У нас одну из комнат занял с женой рабочий эвакуированного инструментального завода. Сын Петя, едва успев сдать экзамены за десятилетку, надел солдатскую форму. В одном из домов, превращенном в казарму, он срочно осваивал премудрости штабной работы. Второй сын, Миша, со школьной семьи пошел на оборонный завод к станку, вырубавшему самолетные гильзы из медного листа. Домой приходил на считанные часы, обрызганный с головы до ног машинным маслом, зачастую полуголодный. Меня с острым артритом уложили на койку в клинической больнице.

В продуктовых магазинах опустели полки, по карточкам полагался только хлеб. На базаре цены беспредельно взлетали день ото дня. В нашем доме не было ни денег, ни продуктов. Все, что можно было обменять, мы обменяли на хлеб еще в предвоенные годы, когда его не хватало по карточкам. Нечего положить в горшок, нечего отнести ко мне в больницу. Там, помнится, профессор Карасев, известный диетолог, прописал мне морковный сок. Принесли полстакана. Ой, какой же он вкусный! Но дали только единственный раз, — на кухне не было моркови. Дома нет нечего, кроме соли. Правда, была у жены надежда: поедет в командировку по пристанционным школам, привезет от учителей какой-нибудь овощной подарок. А что завтра положить в кастрлю? Завтра только чай, да и тот морковный. Но не зря

говорят — утро вечера мудренее. Вдруг открывается дверь, на пороге — гость. Высокий. В длиннополом тулупе, с буденовкой на голове, сохранившейся еще с гражданской войны. Это председатель колхоза из ближнего села Верх-Тула Петр Захарович Тучин, влюбленный в литературу, изредка писавший селькоровские заметки. Он в первые же дни войны был призван в армию, но врачебная комиссия его, страдавшего язвой желудка, освободила, и он снова хозяйствует в сельхозартели, о которой я писал в газете. Увидев, что в доме нет ничего, кроме чая с корочками пайкового хлеба, Петр Захарович сказал:

— Я на лошади — поедемте к нам в колхоз. Берите с собой мешки и мешочки, к урокам в школе вернетесь.

А его слово всегда было твердым: обещал — сделает. И Зина вернулась из колхоза с крупами и овощами. Ее даже одарили гороховой мукой (в ту пору в колхозе еще была своя мельница, и колхозницы стряпали дома ароматные калачи), и на следующий день Зина принесла мне в больницу чудесный гороховый кисель с запашистым конопляным маслом.

Такой вкусной еды я не видывал с детских лет!

Через шесть недель меня подняли, и я начал учиться ходить, сначала возле больничной койки, потом уже дома, придерживаясь за стену. С первыми мартовскими капелями рискнул спуститься во двор. Ничего, ноги не подкосились. Осмелев, вышел за ворота; послушал звон трамвая, мчавшегося к вокзалу.

Пройдет еще несколько недель, и я вот в таком же вагоне доберусь до пригородного поезда, который у нас со дня строительства магистрали продолжали называть «передачей», доеду до станции Кривощеково: Тучин обещал прислать колхозную подводу. Через каких-нибудь два часа доберусь до пасеки. Там «колдует» над доброй сотней ульев знатный пчеловод Николай Антонович Зайцев, мой добрый знакомый. Знатоки говорят — пчелиный яд излечивает суставы, и я непременно буду ходить без костыля.

Мечта сбылась — я на пасеке, упрятанной от ветров в березовую рощу.

Николай Антонович обнадежил меня:

— Пчелки помогут — будешь бегать, прыгать. У меня, знаешь, середь зимы тоже суставы поскрипывают. А лето настанет, пчелки меня пожалят, будто на курорте побывал. Вот так-то!

Но Николая Антоновича вскоре проводили в армию. На пасеке остался хозяином его младший, самый любимый сын Вася, крепкий паренек, усвоивший все пчеловодные премудрости. Первым делом он, по примеру отца, возле самого березового

колка посеял несколько гектаров фацелии, которая по обилию нектара не уступает ни гречихе, ни таежному кипрею, ни зарослям липы.

— Нектар пчелки найдут возле дома! — сказал Вася. — Будет колхоз с медом, как при тяте. Не подведем. Я ему так и написал на фронт. А мед-то на базаре, знаешь, каких денег стоит? Тучин говорит: осенью на те деньги купим самолет — подарим летчикам. А Тучин, знаешь, он какой: сказал — сделает. Вот увидишь.

У Тучина, действительно, были железные правила: «Все — для фронта! И все — по науке!» Ему хотелось, чтобы колхоз гремел, по меньшей мере, на всю область. И потому он прислушался к очередной рекомендации президента сельскохозяйственной академии наук Трофима Лысенко: «В целях расширения зернового клина, сеять по стерне. Заманчиво: ни пахать, ни лущить — достаточно пройтись бороной по одному следу. А осенью — загребай урожай.

Худо ли?! Выручает академик в трудную годину! Мудрая голова!

На пасеке было две избы. В одной жил Евгений Иванович Грищенко, сухонький старичок, страдавший астмой. Во второй хранились про запас старые рамки с сухими сотами. Там для меня постелили войлок, набили наволочку сеном, дали одеяло, стеганное на кудели. Вася на ночь уезжал в деревню, успевал похороводиться с девчатами.

— Есть одна на примете, — говорил мне. — Красивая. Коса до пояса. По домашности все делает и на пашне — ветерок за ней не угонится! И маме глянется, а… — Сдерживал вздох. — Не знаю — успею ли жениться.

Мы со сторожем по вечерам сидели у костра, пекли в золе картошку. Старик, с трудом подавляя «задышку», рассказывал деревенские байки:

— Была, слышь, у мужика баба. Чем-то не поглянулась — прогнал. Женился на молодой брошенке. Худо ли так-то?! Однова говорит:

«Утром поеду на пашню. Ставь квашню — пеки хлебы». Ладно. Напекла баба мягких булок, сложила в мешок. Приехал мужик на пашню, налил воды в колоду. В какой, знаешь, для коней весной делают мешанку из сена. Перевернул туда мешок. Поехал пахать. Ходит, слышь, за сохой, а сам все на свое остожье поглядывает. Дивится: чего там вороны вьются! Вспахал сколько надо, выпряг коней, пустил кормиться на молодую травку. Глядит: ворон над остожьем не стало, быдто их ветром сдуло. Ну, стало быть, приехал на остожье обедать. Посмотрел, а в колоде

пусто. Ни крошки не осталось. Рассердился мужик. Голоднющий. Кишка кишке, слышь, кукуш кажет. Пал мужик на коня, схватил плетку — поехал бабу бить.

Хлещет, слышь, со всего плеча. «Ты, говорит, какого хлеба мне, напекла?! Вот у меня стара-то баба пекла, так по три дня в колоде мочил и то вороны не расклевывали!»

Рассыпав мелкий хохоток, старик принялся вспоминать недавнее:

— По-старому-то лучше. А то вон у нас Тучин, мужик смекалистый, а вздумал сеять по-новому. Какой-то, слышь, наученный человек, будто по-православному звать Трофимом, надоумил в газетах: сей, говорит, не по паханому, а по прошлогодней жниве. Посеяли. А старики говорят: «По ленивке семена разбросали». Ладно ли? Осенью поглядим. Не расклюют ли, слышь, как те вороны, до последней крошки.

Старики-то не зря говорят: «На чужой ум надейся да своим не плошай».

Ночь ложилась тихо, будто на мягкую постель из травы-муравы.

В высоком небе перемигивались звезды. Сон убаюкивал вмиг. А на рассвете меня будили растоковавшиеся косачи. Они чувыкали где-то возле опушки березового колка, шумно подпрыгивали, наскакивая на соперника, а потом рассыпали бесконечную птичью скороговорку: «куры-куры, муры-муры, куры». Умолкали, когда над дальним полем вставало раскрасневшееся солнышко. Я. выходил к рукомойнику, подвешенному на березе. А в двух шагах от меня просыпался на мохнатых зеленых ножках цветок-адонис, прозванный почему-то стародубкой, раскрывал свои веки, будто спорил с солнышком своим золотистым жаром. Милый огнецвет! А над ним уже летал мохнатый шмель в поисках ароматных медунок. Из каждого улья, как по команде, взлетают юркие пчелы — им опередить бы шмеля. Хорошо весной на пасеке! И на какое-то время перестает зябнуть душа от сознания, что далеко на западе гибнут в огне сражений защитники родной земли.

Как там они? Где? На каком огневом рубеже? Неужели еще попятились перед захватчиками? Когда же вперед, к победе? Им там трудно. Очень трудно. Нужна поддержка. От каждого, где бы ни работал человек в тылу. Тучин верит — колхоз не только вырастит и сдаст хлеб фронту, но на деньги от пасеки купит самолет. И мы начинаем загодя расставлять новые ульи. Будет ранняя роса — больше соберем меда.

И я начал очерковую книгу, хотел назвать ее «Лето на пасеке». Пасека важна. Без нее земледелец не обойдется. Для

опыления, скажем гречихи, пчелы необходимы. И для люцерны — тоже. И мед колхозу большое подспорье: его выдают на трудодни, после сдачи по государственному, плану, продают на базаре. Для откачки меда мы с Васей уже наладили медогонку, приготовили фляги.

Но мед не главное. «Хлеб — всему голова» — гласит народная поговорка. Особенно сейчас — хлеб нужен фронту. И я назову свою книгу «Лето на полях».

В километре от пасеки — полевой стан первой бригады. Пчелы своим ядом подлечили мои суставы, и я в любую погоду хожу туда каждый день. Там три избушки, не перевезенные из деревни.

В одной из них можно застать для беседы или бригадира Алексея Быкова, или учетчика Михаила Палея, украинского парня, после ранения оставшегося в Сибири. По вечерам он уже хороводится с девчатами, кажется, скоро женится и, думается, навсегда станет сибиряком. Во второй избушке хлопочут поварихи, и аромат борщей разносится по всему стану. Третья избушка маленькая, с крошечным оконышком, самая наиважнейшая для бригады. В ней немудрая лежанка с матрацем и подушкой, набитым луговым сеном, малюсенький столик, с керосиновой лампой и особой табуреткой у которой вместо сиденья натянуты кожаные полоски.

Такие — табуретки любят сапожники. Там давно сгустились острее запахи от новой сбруи, промазанной дегтем, и конским потом, источаемым старыми хомутами. Там живет Тихон Никитич Шмаков, высокий, крепкорукий, с задубелым лицом, исполосованным глубокими морщинами. Он первым приезжает сюда с мартовской оттепелью, когда еще только-только пробиваются в снегах робкие ручейки и уезжает домой последним уже по крепкому зазимку. Он мастер на все руки: и хомут коню подберет по объему шеи, и шлею сошьет самодельными льняными дратвами, пропитанными особым варом, и конопляную веревку совьет нужной толщины, и борону сколотит из просушенных брусков да вобьет в нее заранее приготовленные зубья. К его избушке примыкает сарай, крытый дерном. Там у него на верстаке припасены: рубанок, фуганок, пилки, топоры и стамески. На деревянных крючьях висят хомуты, помеченные кличками лошадей. Тут же седелки, уздечки, словом, все необходимое для упряжки. А в деревянном лагунке деготь для смазки тележных осей. На пригреве солнца сохнут обструганные черенки для лопат, смастеренные им самим грабли с просмоленными головками, березовые вилы с умело погнутыми рожками, притом разные по длине и емкости — длиннущие для

кидания сена на высокие стога, средние для укладывания в копны, маленькие для школьников, прибегающих в луга на подмогу. И все это аккуратно выстрогано, просушено. Кто же он, Тихон Никитич, на этом стану? А просто хозяин. И мало ему хозяйских хлопот да забот, он еще объездной. По два-три раза в сутки объезжает все поля, смотрит: не воруют ли деревенские озорники огурцы да горох, не копают ли проходимцы картошку, не дремлют ли нерадивые пастухи. Однажды он из очередного объезда вернулся темной ночью, сказал Мише Малию, что выгнал коров с овсяного поля.

— Да как же ты их увидел в такой темноте?

— Услышал! — объяснил объездной. — Они же пыхтят.

Вот таким он был хозяин полевого стана, человек редчайшей заботы.

По приглашению Тучина на полевой стан каждую, неделю приезжал мой друг художник, хромоватый и потому освобожденный от армии, Григорий Густавович Ликман. Он привозил с собой листы ватмана, тушь да акварель, и мы выпускали стенную газету «Хлеб — фронту!» Над моими заметками он написал призывный заголовок: «По-ударному — за стопудовый урожай!»

В ясный день прикрепили газету на особом стенде, сколоченном все тем же Тихоном Никитичем. Неподалеку от стана было отведено поле под картошку для коллектива одного оборонного завода. И вот оттуда пришел бородатый мужик, глянул на наш призывный лозунг и не мог скрыть усмешки:

— Ха-а! — Повернулся ко мне. — За сотню ладите бороться! Да мы тут, на этих землях, бывало, собирали по двести!

С досадой махнув рукой, он пошел назад к своей картофельной делянке.

Кто же он?

Тихон Никитич объяснил нам с Ликманом:

— Из тех горемык… Сумел, удрать из поселенья. К заводу прибился: руки-то нужны. А тут ему от завода дали участок под картошку. Землю он знает. Она, матушка, так родила, что у старательных мужиков от пшенички-то сусеки ломились. Вот как! Ежли с умом да с заботой.

Мужики ушли на фронт. В полях пахали да боронили землю подростки, оставшиеся в семьях большаками. Тихон Никитич присматривал за всеми. Низкорослому поможет коня охомутать, слабосильному супонь затянуть. Прилежных похваливал, на безалаберных покрикивал.

Как-то при мне один беззаботный снял с крюка не тот хомут, который нужно.

— Куда прешь? — остановил его Тихон Никитич. — Этим холку изотрешь до крови. У Игреньки другой хомут. — Вырвал у парня взятый ошибочно. — Видишь тесный. У самого-то шапка по башке. И коню все надо впору.

Я рассказал об этом Ликману, и он дал в стенгазету острый рисунок: выхваченный Шмаковым хомут разорвался.

Вывесили газету. Подоспел Тихон Никитич, глянул, и лицо у него покривилось, будто от внезапной зубной боли:

— Намалевал! Постарался!

— А что, что, Тихон Никитич? — встревожился художник. — Не узнал себя? А вроде бы похожий…

— А на чорта мне похожий-то, — отмахнулся Шмаков крепкой ручищей. — Неправда. Все неправда. Хомут-то целый. Иди — погляди. Я худых не шью. Шестерым борцам не разорвать! Вы тут… — тьфу, прости господи!

Старики потешались:

— Хомут-то хе-хе-хе…

— Дратву, Тиша, худо просмолил, хе-хе…

Не хотелось еще раз огорчать мужика, но вскоре подвернулся уж очень заманчивый случай. В дальнем логу Тихон Никитич отыскал волчье логово и, воспользовавшись минутой, когда волчица убежала за добычей, положил волчат в мешок. На стану сделал для них закуток и начал кормить остатками от кухни. Надеялся — за лето волчата взматереют и шкурки сгодятся на полудошку. Григорий Густавович соблазнился темой и для стенгазеты изобразил объездного верхом на волке. Поставил подпись: «Осенью, откормив волка, Тихон Никитич отправится в очередной объезд». Мужик так рассвирепел, что у него даже сжались кулаки, тяжелые, как молоты. Тучин, сдерживая улыбку, принялся объяснять:

— Так это же «дружеский шарж». Тут так и написано. Ну — как бы тебе сказать? — дружеская шутка.

— Хороша дружба! — хрипел от гнева Тихон Никитич. — Колхозника на волка посадили! — Повернулся к Тучину. — Из обкома приедут — куда от стыда спрячешься?

— Прятаться не буду. Они же понимают: вместе посмеемся.

— Не смех, а горе! — Шмаков потряс кулаками. — Колхозники коней извели — на волках ездят!

А через день мы узнали: Тихон Никитич зарезал волчат. Завидев нас, уходил в свою избушку. И на стенгазету больше ни разу не взглянул.

Медосбор в тот год выдался на славу. Мы с Васей заполняли фляги превосходным цветочным — с фацелии! — медом. Кладовщица Валя Пьянкова наловчившаяся торговать, уже не раз

отвозила мед на базар. А Тучин подсчитывал: сколько в банке накопилось денег на покупку самолета. Не хватит — можно пшено продать.

Одну флягу меда привезли к нам во двор, я по телефону сообщил всем писательским семьям, в первую очередь эвакуированным из Ленинграда и Москвы. У кого не было телефона, к тем направил посыльных, и двор наполнился радостным гулом:

— Мед! Нежданно-негаданно, как в сказке!

— А по сколько можно?

— По потребности! Сколько в посуду войдет.

И некоторые побежали домой за дополнительными кастрюлями.

Сторож пасеки, не взирая на «задышку» помогал нам крутить медогонку.

Вася, крепкий, краснолицый, как девица, и то к вечеру от усталости опускал руки. Но в сумерки непременно убегал в деревню. На ночку! Мы знали, что у него объявилась невеста. Пройдет несколько недель, и он успеет до призыва в армию жениться. Андреевна, как почтительно звали колхозники его маму, наварит на пасеке крепкой и душистой медовухи.

Васю проводят всем колхозом. И все будут горевать, когда Андреевне почтальон принесет похоронку. Из сверстников Васи, призванных на фронт, уцелеет только три процента. Вот они страшнейшие, потери, которые, по словам демографов, будет ощущать наша стране в течение нескольких десятилетий. Таких страшных потерь мир не знал.

Николай Антонович вернется раненым в правую руку. Из его груди вырвутся слова, полные душевной боли.

— Вася, Вася… Да лучше бы я остался на поле боя… — И две неудержимые слезины стекут по его лицу.

Он опять на всю округу будет первым пчеловодом, и возле пасечной рощи снова расцветет фацелия, выращенная из семян, сбереженных Васей.

Созрели хлеба. Озимая рожь вымахала вровень всаднику. Пшеница клонила тяжелый, будто свинцом налитый, колос. Золотился овес. Тучин радовался: будет добрая солома на корм коровам. А на «ленивку», засеянную по мудрому совету президента сельскохозяйственной академии наук Трофима Лысенко, старики ходили, чтобы поплеваться с горькими усмешками:

— Загубили семена!

— От колоса до колоса не слышно девичьего голоса!

Кончилось тем, что туда загнали стадо коров и «потравили из-под копыт».

Началась страда. Колхозный кузнец, как мог, подправил жнейки, сработанные на заводах Мак-Кормика еще в начале века, и в радостный день они, взмахивая деревянными крыльями-граблями, двинулись, как говорили тогда, в решительное наступление на хлебные массивы. Все женщины села вышли в поля вязать снопы. Мальчуганы и девчушки стаскивали снопы в ряды. Там старики, наловчившиеся издавна, ставили в кучки по пять снопов, а шестым, разделенным по кругу вроде зонтика, способного уберечь от дождей, накрывали суслон за суслоном. Мы с Григорием Густавовичем завели в стенгазете рубрику «Хлеб — фронту!». Я писал заметки о вязальщицах: кто сегодня впереди? Счет снопам шел на сотни. Учетчик Миша Палей на сотни вел счет суслонам. — Любо-дорого было смотреть на яркие косынки вязальщиц, спешивших обогнать подруг, таких же ударниц. У каждой из них за опояской добрый десяток вязок, скрученных из осоки. Подбежит сноровистая к грудке пшеницы, столкнутой крылом жатки на стерню, расстелет вязку и, обняв грудку, переложит поперек, прижмет коленом, закрутит вязку — сноп готов! — и бегом к следующей грядки. Ничего, что руки горят от уколов сорных трав — жабрея и осота, — это не в счет: «Мужьям и сыновьям, там, на огненных рубежах, труднее в смертельной опасности. Только бы выстояли, да погнали бы в шею захватчиков, только вернулись бы поскорее! Пусть даже ранеными, но победителями». А на току другие женщины, закатав рукава до локтей и подоткнув юбки, крутят старые, подправленные кузнецом да плотником, веялки. А девушки, которым в мирное время еще сидеть бы за школьными партами, сгребают зерно в кули-пятипудовики, вдвоем закидывают на телеги и длинным обозом везут на элеватор. В солнечную погоду даже поют песни, о дружках, ушедших защищать их, любимых. А в ливень приходится укрывать мешки брезентами да на себе покрепче завязывать промокшие шали. И среди них — свои ударницы. И о них я пишу в стенгазету, а неутомимый Гриша Ликман рисует их портреты.

И мне вспоминается первая мировая война. Когда она заполыхала, мне шел одиннадцатый год. Отца, ратника ополчения, в русско-японскую войну раненного под Мукденом, угнали на фронт обозником. Я остался в семье большаком. А у матери дочки — мал-мала меньше и еще кто-то, в ожидании. Вся работа зимняя по хозяйству — на моих плечах, в особенности летом. Пришлось сговориться с богатым мужиком работать вскладчину. Но получалось так, что мы большую часть времени

пахали, боронили, сеяли: на его пашне, а нам все делалось урывками, кое-как, лишь бы поскорее, чтобы снова отправиться на его большие полосы. Помню, как за годы войны обнищала деревня, заросли сорняками необработанные солдатками поля, отощал скот, под конец в квашню подмешивали лебеду, а похлебку варили из циканов —

молодых соцветий — дикого брщевника. Если бы в это страдное время так же в одиночку — погибла бы страна. А Красная Армия опрокинула врага, погнали со своей земли, заставила капитулировать и тем самым спасла мир от фашизма. Победа завоевана не толъко благодаря невиданному героизму в сражениях, но и благодаря неимоверно тяжкому и все же облегчающему душу совместному труду.

Сбылось задуманное…

Тучин собирался, как на праздник. Побрился. Тем временем Вера к его гимнастерке подшила новый подворотничок. Сквозь окна — послышалось:

— Тпру-у, милые!.. — Это подъехал Тихон Шмаков на паре гнедых.

Дуга в упряжке праздничная, крашеная — золото с киноварью. Бляшки на уздечках и шлеях натерты до блеска.

Декабрьский мороз постукивал в углы деревянного дома, раскинул на оконных стеклах серебристые пальмы и завитушки. Тучин надел длиннополый тулуп и свою любимую буденовку. Заехал в контору, взял зачехленное знамя колхоза. Шмаков приослабил вожжи, задорно чмокнул, и кони рванули кошевку к городской дороге. Следом, тоже на выездной кошевке, при нарядной дуге и отменной упряжи, ехали бригадир первой бригады Алексей Ефимович Быков и главная добытчица денег на городском базаре Валя Пьянкова, краснощекая девушка в пуховой шали. Под полозьями скрипел промороженный снег, под копытами лошадей извивалась струистая поземка. Хорошая погодка! Настоящая сибирская. Только поднимется ли в небо самолет при туманной изморози. Их подарок фронту! Вчера в газете отметили: «Колхозники Верх-Тулы купили самолет!»

Тучин про себя отметил: его колхоз — зачинщик доброго дела!

Несомненно, будут последователи. Но они — первые! Это было непросто и нелегко. Говорил и на собрании, и на заседании правления, побывал в добром десятке домов: поддержат ли колхозницы? Все были готовы проголосовать «за».

Бригадир Быков оказывался во всем первым, и он принес в бухгалтерию пачку денег, завернутых в цветастый платок жены:

— Тут пять тысяч, — сказал громко, чтобы было слышно в соседнем председательском кабинете. — У меня, сами знаете, три сына в армии. Младший — в летчиках. Может наш самолет попадет в его руки. Пусть летает на нем и громит поганых захватчиков.

Тучин помнит: старик Грищенко, пасечный сторож, принес две тысячи. И где он их наскреб?! Рублик к рублику! Сестры Горбуновы — по тысяче. И Тихон Никитич — тысячу. Меньше пятисот рублей никто не приносил. Подсчитали — 210 тысяч. Не хватает! Добавили из колхозной кассы.

И так ко времени! Фашистов погнали от Москвы. И пусть гонят так же, как — он недавно перечитывал в романе «Война и мир» — в восемьсот двенадцатом гнали Наполеона. И партизаны подмогнут, как помогали тогда. Говорят, командарм сибирских партизан Игнатий Громов собирается в фашистский тыл передавать партизанам сибирский опыт. Самолет перекинет его туда, в белорусские леса. А может, наш самолет пособит прогнать фашистов из Ясной Поляны. Скорей бы, скорей освободили священный уголок родной земли. Жаль, что не довелось съездить в Ясную Поляну. В летнее время не оставишь колхозные поля. А зимой? Зимы, обычно, уходили на подготовку к весеннему севу. А вот после войны он побывает, непременно побывает там, поклонится могиле кудесника слова, знатока людских сердец. Один бывалец рассказывал: одинокая могила — в лесу. Может, фашисты не дознались, не осквернили…

Самолет уже стоял на летном поле. На его фюзеляже выведено большими буквами: «Колхоз Политотделец» Хорошо! Очень хорошо! Он, Тучин, знает: политотдельцы крепят в армии боевой дух! Не случайно они, вернувшиеся из армии, дали колхозу такое название.

Рядом стоял второй самолет, на борту которого была несмываемой краской нарисована пчела. Тучин пожалел, что на их самолете не догадались изобразить пчелу, ведь их пасека помогла купить самолет.

В строю стояли летчики, которым доверялись самолеты, купленные колхозниками. Командир сказал, что самолет "Политотделец" вручается летчику Юрченко, на счету которого уже шесть сбитых самолетов противника.

Тучин правой рукой, прислонил колхозное знамя к крылу, левой провел по фюзеляжу, будто погладил коня, отправляемого в поход, потом обнял летчика Юрченко. Затем его обнял Алексей Быков:

— Может моего сынка там встретите, скажите: благословляю на славные дела!

Валя Пьянкова, привстав на цыпочки, поцеловала летчика в щеку:

— А моя бабушка перекрестила бы по-христиански! Вот ее благословенье.

С разрешения командира колхозники друг за другом взбирались в кабину, трогали рычаги управления.

Из-за мороза митинг устроили в столовой, где уже был накрыт обед.

На другой день Тихон Никитич запряг лошадку и отправился в поля посмотреть, хорошо ли снег закрыл озимые. Над головой гудели в небе два самолета. Один на длинном тросе увлекал за собой полосатую мишень, а второй, подлетая то с одной, то с другой стороны, бил из пулемета короткими очередями.

«Новенького учат! Может, нашего! — подумал Тихон Никитич. Ему вспомнилось, как в березовой роще скворцы-родители подгоняли слетышей, учили подниматься в небо. — Может, за этими посматривают с аэродрома: хорошо ли стреляют? Метко ли? Видать, метко. Вон сбил мишень-то. Ладно ли? Похвалят ли? Может, еще бы покружился, пострелял бы сверху.

А на снегу что-то поблескивало. Вон еще и еще…

— Гильзы! — понял Тихон Никитич. Остановил коня. Поднял гильзу, глянул в небо. — Подарок мне бросил! — повертел перед глазами, потом по-хозяйски зажал в ладони. — Спасибо! Добрый будет черенок к подпилку!

Сибирь надежно укрыла величавшие ценности: в Тюмени в надежное здание бывшего реального училища тайно был доставлен саркофаг с телом Владимира Ильича Ленина (а в Москве по-прежнему нес почетную службу караул у Мавзолея), никто из нас, новосибирцев, не ведал, что в подвалах еще не открытого оперного театра хранятся сокровища Третьяковской галереи, а в Томске — реликвии Ясной Поляны, которые удалось спасти буквально в последние минуты.

Из Томска приехал ко мне один из хранителей музейных ценностей Н.Ф. Мурашов. Разговорившись о передовых колхозах, мы на следующий день отправились в Верх-Тулу. На собрании в «Политотдельце» Мурашов рассказал о ценностях, которые буду возвращены в Ясную Поляну после ее освобождения. Тучин распорядился, чтобы хранителям музейных ценностей в Томске собрали посылочку: мешочек пшена, кусок свиного сала и туесок меду.

А когда Ясная Поляна была освобождена, колхоз

«Политотделец» принял участие в восстановление национальной святыни. В те дни на сушилке сушили хлеб — для Ясной Поляны. У амбаров веяли семенное зерно — для Ясной Поляны. В домах колхозников сушили сдобные сухари — для детей деревни Ясная Поляна. В школе укладывали в ящики тетради, карандаши, учебники — для яснополянской школы.

Н.Ф. Мурашов привез фотовыставку «Л.Н. Толстой и Ясная Поляна».

А агитаторы в те дни в домах верх-тулинцев читали отрывки из «Войны и мира». Лев Толстой, был всем по душе. А главное — ко времени.

И верх-тулинцы решили отправить в подарок яснополянскому колхозу триста пудов семенного зерна. К этому подарку я присоединил свою скромную книгу «Лето на полях». На ее обложке художник запечатлел обширное хлебное поле с золотистыми суслонами и всадника, отправившегося в объезд с ружьем за плечами. Имелся в виду все тот же непоседливый Тихон Никитич. Шмаков.

На отклик я, откровенно говоря, не надеялся: не до переписки, людям, восстанавливающим хозяйство, разрушенное фашистским нашествием.

Но вот пришло письмо в самодельном конверте, склеенном из серого листка бумаги. Заказное. Со штампом военной цензуры, как полагалось, в то время. От кого же? Почерк на конверте крупный, явно мужской, в какой-то степени напоминающий строчки из рукописей Льва Николаевича. Что там в нем?

Скорей-скорей читать, и Зина нетерпеливо оторвала краешек конверта, извлекла два листка, исписанных с обеих сторон. Читаем, подгоняемые радостью.

Эта переписка длилась долго, доказывая, что расстояние от Ясной Поляны до Новосибирска — дружбе не помеха…

* * *

«На-гора» — мой четвертый роман, оказавшийся многотрудным. Выше и вперед! — вот что я хотел сказать заглавием этой книги. Вперед, не взирая ни на какие препятствия и преодолевая любые помехи, чинимые противниками индустриализации Сибири. Многотрудным роман был для меня, а для читателей широкого круга, как видно, легким. Но сначала расскажу о его предыстории.

Я долгое время писал о людях Горного Алтая и мне требовался перерыв. Нужны были иные темы, другой круг людей

труда, и я решил «перекочевать» в Кузбасс для освоения неведомого мне края. Для первого знакомства решил избрать Ленинцк-Кузнецкий. Там деятельные библиотекари к читательской конференции собрали сотни отзывов о моих книгах, выпустили, специальную стенгазету. Клуб был переполнен. Выступая с трибуны. Горняки для беседы звали к себе домой, обещали провести по забоям. И на следующий же день повели меня в шахту Емельяновскую капитальную, названную так в честь Емельяна Ярославского.

Но для более глубокого знакомства хотелось побывать на всех рудниках: пласты там разные и способы добычи во многом отличались. Во вторую поездку я отправился с Николаем Кудрявцевым, автором производственных рассказов. На шахтах Прокопьевска мы делились впечатлениями о Первом Всесоюзном съезде писателей. После читательских конференций побывали в гостях у двух горняков, в то время знаменитых ударников подземного труда, на следующий день спустились в их забои. Третью поездку я совершил вместе с поэтами Никандром Алексеевым, Ильей Мухачевым и Александром Смердовым в Сталинск, как называли тогда нынешний Новокузнецк, и в Осинники. Мы выступали в раскомандировках и спускались в каждую из шахт. А когда загремела слава Алексея Стаханова, наше издательство попросило меня написать очерк об одном из его последователей. Я поехал в Анжеро-Судженск, где рудник был открыт еще в годы строительства Великой Сибирской магистрали. Там уже прославился небывало громким рекордом Сергей Баннов. А шахтерские жены похвалялись:

— И мой бы мог так же…

— И мой. Только сделали бы ему рекорд.

У Баннова я прожил несколько дней, расспросил о жизни, начиная с его мальчишества, сходил с ним в забой. Дома — сразу за работу. А когда половина рукописи была готова, издатели попросили показать.

Прочитав, похвалили. И тут же огорошили:

— Надо от имени самого Баннова. Вот и в плане у нас — Сергей Баннов. Пять листов.

Было жаль расставаться с темой, и я согласился, оговорив, что сделают пометку о моей литературной записи.

Переписал все от первого лица. Рукопись отредактировали, приготовили к набору и вдруг спохватились:

— Надо же все показать автору. Он, как раз, здесь в гостинице.

Отнес «автору». Условился с ним, что приду через два дня. Успеет прочитать. Ждал с опаской: не допустил ли какой-нибудь

неточности в специфике шахтерского труда? Но знатный горняк, возвращая рукопись, успокоил:

— Все тут ладно. Как было, так и прописано. Про жисть. Про работу.

Перелистываю рукопись, ищу пометки. Пока ни одной. Но что это?

Под тринадцатой страницей, словно у следователя на дознании, подпись: «Баннов» А дальше?

— Дальше я не читал, — признался «автор». — Не успел. Да и ни к чему. Рассмеялся во все рябоватое лицо. — Уголь рубать легче. А ты писать мастак. Чего еще?

Напечатали. В одной из местных газет книгу похвалили. Только «автор» промолчал. Бухгалтерия перевела ему половину гонорара. Тоже промолчал. Уж не затерялся ли перевод? Нет, почтовые переводы не теряются. Года через два автор подтвердил это своеобразным звонком по телефону:

— Я, знаешь, решил еще книгу написать.

— Вот как!.. Ну что же — в добрый час. Желаю успеха.

— А-а… А-а, — растерянно пищал в трубке голос растерянного человека. — А-а как же без тебя?! Помогать надо.

— В издательстве, вероятно, помогут. А меня извините, — пишу свою книгу.

Действительно, я надолго увяз в многоплановом романе. По сложным вопросам шахтерского труда консультировался у главного инженера комбината «Кузбассуголь», находившегося тогда в Новосибирске.

Но в эту книгу властно вторглись драматические события тридцатых годов. Если бесследно исчезал арестованный, мы верили — Сталин не знает. Бесчинствуют злодеи, пробравшиеся в органы. «Хозяин» узнает — разберется во всем, безвинных вызволит, нарушителей закона накажет. Он справедливый, как солнце, мудрый из мудрых, единственно прозорливый. Мы называли его «отцом народов». А отца нельзя ослушаться, отцу нельзя не верить. Но судебные репортажи, публиковавшиеся на весь мир, заставили задуматься: Сталин не мог не знать. Значит, в самом деле, пробрались вредители и шпионы. Продались иуды за тридцать сребренников. Пытались предать страну, распахнуть ворота перед врагом. Вон же они на суде сами признаются во всем. Раскаиваются. Готовы на колени встать перед народом, чтобы только остаться в живых. И мы тогда и в последующие годы продолжали искренне верить в Сталина, А когда он умер — заливались слезами. В этом народная трагедия, открывшаяся перед нами после двадцатого и двадцать седьмого съездов партии. А тогда, в тридцатом году, мы верили в то, во что,

казалось, не возможно было поверить. И в моем романе наряду с реалистическими главами появились детективные, ложные, написанные по сомнительным судебным отчетам. Я, как писатель, наказан из-за своей тогдашней доверчивости. Но вот парадокс — детективные, как увидим дальше, придали роману читабельность.

Чтобы не помешать публикации в Москве, я в «Сибирских огнях» в 1939 и 1940 года напечатал только отдельные главы, а полную рукопись отвез в Москву. Один экземпляров «Новый мир», другой — в издательство «Художественная литература». В издательстве рукопись отредактировал критик Ю.Б. Лукин, взыскательный редактор, готовивший к печати романы М.А. Шолохова. В «Новом мире» прочитал Владимир Петрович Ставский, в то время главный редактор, а подготовку рукописи поручил Александру Михайловичу Дроздову, автору нескольких книг повестей и рассказов. Познакомился с моим романом и член редколлегии Леонид Максимович Леонов, всемирно известный мастер художественного слова, мнением которого дорожат все мои современники. Мне он сказал:

— Все писал нормально, не торопясь, а под конец, будто от усталости, сел на санки и скатился с горы.

Через несколько месяцев Владимир Петрович телеграммой известил меня, что будет проезжать через Новосибирск скорым дальневосточным. Мы встретились на перроне. Он долго жал мне руку, заверяя, что мой роман в плане журнала. А когда он вернется в Москву?

— Думаю, что не скоро. И не от меня это будет зависеть, а от важных событий.

Важные события назревали на Халхин-Голе, и он спешил туда.

Примерно через год в издательстве книгу набрали, вычитали верстку и подписали к печати. Мне даже обложку показали.

Но в редакцию современной прозы пришел новый заведующий. Его не устраивали детективные главы, и набор рассыпали.

В «Новом мире» устроили обсуждение. Помимо редакционных работников выступили Ю.Б. Лукин, Ю.А. Жуков, С.Е. Кожевников, в то время уже редактор «Сибирских огней». Было немало полезных замечаний по детективной части. Общее впечатление оставалось положительным, и Дроздов унес рукопись домой, чтобы по-редакторски засесть за нее. Роман увидел свет перед самой войной — в книгах четвертой и пятой, но с сокращениями почти наполовину.

* * *

В Новосибирске роман подписали к печати 28 мая 1941 года, а сигнальные экземпляры появились, когда воинские эшелоны сибиряков уже мчались на запад для отражения фашистского нашествия, и я не думал, что в такое суровое время судьба подарит мне счастливые встречи с этой книгой. Но такие встречи были.

Как только началась эвакуация из западных областей страны в Сибирь, нескончаемым потоком пошли эшелоны.

В первые же месяцы Новосибирск принял пятьдесят заводов. Принял для хранения в недостроенном оперном театре Третьяковскую галерею. Принял ленинградскую Александринку и знаменитый симфонический оркестр, возглавляемый Мравинским. Приютил Дмитрия Шостаковича и Леонида Утесова. Приютил писателей Ленинграда и Москвы. В заводских эшелонах приехали рабочие с семьями. И население города почти удвоилось.

И в первые полтора года, пока приезжие не научались выращивать картошку да пока в закрытых распределителях не появилась американская тушенка и сухое молоко, было голодновато. В столовых, к которым мы были прикреплены, на первое давали так называемый суп из зеленых помидоров, на второе пшенную кашу, понято, без масла. Где же выход? Как, хотя бы немножко, улучшить питание? И вдруг из далекого Нарымского округа дошла весть — там можно купить рыбу. И наша писательская организация решила попытать счастья — отправить двоих на заготовки. Выбор пал на детского писателя Бориса Емельянова и меня. Принесли нам мешки с надписанными фамилиями, а пухлые купюры я втиснул в полевую сумку. На наше счастье, штаб военного округа отправлял за рыбой самолет, и попутно взяли нас. Самолет удачно приземлился на застывшем болоте возле маленького городка Колпашево, в 323 километрах севернее Томска. И мы с Борисом отправились к первому секретарю окружкома Попову, душевно расположенному к литераторам. Добрейший Павел Васильевич на первых порах огорчил нас:

— Туг вы ничего не добудете. Ни ерша на уху, ни чебака на поджарку. — Но, задумчиво проведя рукой по лбу, смягчил он голос. — Коль вы добрались до нас, может, — перенес взгляд на телефонный аппарат, — что-нибудь придумаем. Приходите завтра.

Павел Васильевич был на редкость заботливым. По его звонку на следующий день деятельный кооператор, тоже влюбленный в литературу, уже собирал нас в дальнюю дорогу. Даже привел на продуктовый склад. Там из вместительной дубовой бочки достал

колбасу, подчеркнув при этом:

— Английская! Они такую готовят для моряков в дальние плавания: вот так пересыпают солью. Может сто лет храниться! Ну а вам на каких-то четыре дня, пока доберетесь до Каргаска. Павел Васильевич звонил туда секретарю райкома: вам все обеспечат.

К английской колбасе кооператор добавил четыре поллитровки спирту:

— Без этого посошка у нас не ездят: морозы-то, бывает, дават за пятьдесят! А вам ведь придется отмахать две сотенки!

С таким напутствием мы отправились на перекладных в Каргасок, куда по тем временам и «Макар телят не гонял». Самолеты тогда в такую даль не могли летать, и все таежные и речные дары, какие давала нарымская земля, до навигации оставались на месте. На шумном воскресном базаре, помимо рыбы продавали и мясо и масло. Мы купили даже по бутылке медвежьего жира, который соперничая со спиртом, не замерзал в самые жестокие морозы.

В Каргаске в ту зиму давала спектакли небольшая труппа Василия Васильевича Меркурьева и его жены Ирины Васильевны, дочери Мейерхольда. Эта труппа сумела добраться до изобильного края с последним пароходом, и мы вместе с актерами выступали в рыбацких колхозах. В один из выходных дней местные театралы и книгочеи пригласили актеров и нас в гости. На пирог! Дом оказался на редкость просторным даже для этого лесного края. Большую часть кухни занимала громадная русская печь, источавшая ни с чем не сравнимый хлебный аромат. Из ее разгоряченного чрева хозяйка широченной деревянной лопатой извлекла пышущий жаром пирожище длиной во весь стол. В нем была целиком запечена нежнейшая чудо-рыба нельма, превосходящая вкусом осетрину. Такое изобилие в том далеком краю сохранялось даже на втором году Великой Отечественной.

Жили мы в доме одинокого старика. Там была холодная кладовка. И туда нам доставляли речную добычу. Тут были и полуметровые щуки, и круглые, будто налитые жиром, муксуны, и золотистые окуни. С каких-то лесных озер привозили серебристых карасей и даже лоснящихся линей. Взвесив доставленное, мы все укладывали в мешки. Нам не отпускали только нельму и осетрину, заготовляемую для каких-то особых надобностей. Стерляди нам тоже не полагалось. Но старик угощал нас этой редчайшей по вкусу рыбой. Каждое утро он запрягал в санки лохматого Пестрю и отправлялся на излюбленное место обской отмели, где опускал в прорубь свои снасти. Домой привозил стерлядок, мерных, как березовые

поленья. Обогревшись у печи, он вооружался ножом, наточенным, как бритва:

— Начнем, благословясь, чушь пороть.

От него мы узнали, что чушью местные остяки называют шкурку стерляди.

Острием ножа старик проводил черту по брюшку мерзлой стерлядки от головы до хвоста, потом легко одним махом сдирая тонкую кожицу. Обнаженную тушку строгал тончайшими слоями, клал на тарелку и, посыпав мелкой солью, приглашал к пиршеству. По-русски эта еда исстари называлась строганиной.

— В дорогу я вам насолю таких стерлядок, — пообещал заботливый собеседник. — Приедете ночевать на постоялый двор, а там печка от жару пышет, кипяток в котле бурлит, попросите у хозяйки чугунок, нарубите, стерлядку вот эдак поперек и в кипяточек, в кипяточек. Не успеете ложку в руку взять, а ужин готов: хлебайте на здоровье!

— А нам говорили, в дальнюю дорогу берут с собой мороженые пельмени, — сказал Борис.

— Настряпаю вам и пельменей, — пообещал старик. — А, по-моему, стерлядка лучше.

Рыбу мы упаковали. Вдобавок купили на базаре мяса. Получилось шесть возов, и местный колхоз снарядил для нас обоз, который в сопровождении бывалых возчиков отправится в Томск, а оттуда наш груз будет отправлен в Новосибирск поездом.

Двухнедельный санный путь будет нелегким. Пешком за возами нам не выдержать, и заботливые райисполкомовцы предоставили нам пару своих коней. На них мы доберемся раза в два быстрее.

На прощанье сказали, что ямщик уже готовится в дорогу. Ехали на двух лошадях, запряженных в кошеву гусем, по-российски цугом. По тридцать да тридцать пять километров от станка до станка. И между ними — ни одного жилья. Засыпанный снегом сонный лес да небо. Иногда зимняя дорога спускалась в пойму Оби, казавшуюся безграничной. Там снежная равнина да кусты тальника, в полутьме похожие на валуны.

После очередной ночевки мы выехали с постоялого двора задолго до рассвета, когда от злющего мороза с треском кололся лед на озерах, а в высоком небе играли бриллиантовым отблеском крупные звезды. С рассветом навалился морозный туман, скрыл не накатанную в пойме дорогу, и кучер полагался больше на чутье переднего коня: не собьется с путика. Изредка, по-хозяйски останавливая упряжку, он освобождал коням ноздри от намерзших сосулек и все же топтался на снегу, проверяя, не

сбились ли с пути.

Когда туман рассеялся, злое солнце, едва оторвавшись от земли, приподняло две огненные руки.

— Ого, мохнатые рукавицы надело! — воскликнул кучер, смел иней с бороды. — Завернет еще покрепче!

Все замерло. В небе ни единой пташки. О таком морозе говорят:

«Воробьи на лету замерзают!» А вон сорока терпит — только взъерошила перья, чтобы удержать тепло, и походит на хвостатый шар.

Короткий зимний день уже давно сменился сумерками. Пора бы и на ночлег. А где он ждет нас? И далеко ли до деревни с очередным постоялым двором? Сорока не скажет. В такой морозище она совсем не тараторит — боится горлышко простудить. Мы с тревогой посматривали вправо, откуда в ночном полумраке изредка придвигалась на какое-то время черная стена тайги, но там не было ничего похожего на жилье. А вблизи виднелись по-прежнему все те же шарообразные кусты. Если мы заблудимся, придется пробираться по бездорожью в сторону леса, — там можно скоротать ночь у костра. А лес на беду отступил куда-то во мглу. Тогда нам останется только… Да вон же стог сена! Вон второй! Можно зарыться в него. Авось не заколеем. Утром осмотримся. Но длинна, ой, длинна северная декабрьская ночь!

Кони остановились, поворачивая головы то в одну, то в другую сторону.

— Как же это вы, милые, с дороги сбились?! — упрекнул кучер. — На вас была надежа.

Он пошел вперед, приминая нетронутый снег, и нас тревога, словно пружиной, выкинула из кошевки. Пошли в разные стороны, спотыкаясь о снежные заструги. Дорога не прощупывалась, под ногами.

Кучер шел впереди, кони за ним. А куда? У звезд не спросишь.

Вдруг кони остановились, повернули головы вправо и навострили уши.

— Жилье чуют! — обрадовался кучер, — Там, робятушки, деревня!

И мы стали проламываться сквозь сухой болотный камыш. Впереди — речка под льдом. За ней на взгорье черная, будто мохнатая, стена леса. Похоже, могутный кедрач. А перед ним на крутосклоне вспыхнули светлячки. Что это? Не волчьи ли глаза? Ведь для окон очень тусклые. Может, освещаются лучиной? Кони снова остановились и, вскинув головы, заржали. Деревня! Вон и

очертания избушек, засыпанных снегом до самых крыш. Мы спасены!

Но пока мы проламывались туда, огоньки стали гаснуть. Остался единственный, самый дальний, словно врезанный в лесную толщу. Успеть бы, пока не заснула вся деревня.

Вот от проруби — тропинка в гору. Она привела нас в переулок. Тем временем погас последний огонек — деревня погрузилась в сон. Кучер постучался в одну избу, в другую, в третью — никто не пускает проезжих, появившихся неведомо откуда, далеко от проселочной дороги. Опасаются: не пробрались бы варнаки. И мы с Борисом тоже принялись стучаться в хмурые избы. На нас гавкали охотничьи лайки, но даже на собачий лай никто не подымался, не открывал дверей. Так это было непохоже на сибирских крестьян, всегда привечавших проезжих, в особенности в суровое зимнее время. Хоть замерзай посреди улицы!

Но вот я заметил запоздалую парочку. Молодые, быстрые на ноги. По узкой тропинке идут друг за другом. Перешагнули через прясло из одной усадьбы в другую. Еще несколько минут и скроются за домом по другую сторону переулка, и я побежал наперерез. Не опоздать бы. Только они могут спасти нас. Мужчина прихрамывает — я успею. Окликнул их.

— А вы кто такие среди ночи? — настороженно спросил мужчина, задерживая взгляд на моей полевой сумке. — Откуда взялись?

Я назвался. И — о чудо! — женщина от неожиданности воскликнула:

— «На-гора»?! Вы написали? Сами? — выдернула книгу из-под мышки. — Так вот же она! Несу от подруги. Давала читать.

— Пойдемте, пойдемте, — пригласил мужчина. — Я сейчас открою ворота. Мы учителя. Первый год в глуши. И такая встреча!

Кучеру он показал, куда провести лошадей в закуток, где взять сено.

Спустя каких-нибудь пять минут мы уже отогревали руки возле жестяной печки, в которой жарко пылали сухие березовые дрова поленья, и отвечали на добрые расспросы учителя, а его жена уже накрывала стол для ужина. Запахло картошкой, поджаренной на гусином жире. Мы в свою очередь расспрашивали о последних фронтовых сводках.

Узнали о разгроме фашистов под Москвой. Вот радость, так радость! Борис вскочил, рубанул кулаком воздух:

— Так их растак! Поглубже в землю!

— Теперь наши погонят! Как Наполеона! — сказал учитель. — А вот тут… Из-за своей ноги!.. Просился

добровольцем — комиссия не пропустила.

На столе появился берестяной туесок с кедровыми орехами. Мы соскучились по таежному лакомству. Пощелкивая вкусные орешки, проговорили чуть не до рассвета.

Утром уроки в школе были отменены. Все ребята хлынули в один класс — на встречу с «живыми писателями». Борис рассказывал об Аркадии Гайдаре, с которым был хорошо знаком, я читал рассказы. Потом мы едва успевали отвечать на вопросы, сыпавшиеся со всех сторон.

А после обеда все ребята встали на широкие, подбитые камусом, охотничьи лыжи, и, продолжая расспрашивать, проводили нас далеко в луга, в которых затерялась зимняя дорога.

Вторая моя, тоже неожиданная, встреча с романом «На-гора» произошла на Калининском фронте, в лесах возле реки Ловати. Я не думал, что книга, изданная в Новосибирске, окажется так далеко.

… В марте 1943 года на наших станционных путях снаряжался в дальнюю дорогу товарный поезд специального назначения. Он состоял преимущественно из теплушек, предназначенных для солдат, которым предстояло пополнить нашу добровольческую дивизию, получившую высокое звание гвардейской. Несколько десятков холодных товарных вагонов были заняты подарками фронтовикам: ящиками мороженых пельменей, бадейками меда, тюками шерстяных варежек и шарфов. В штабном вагоне ехали офицеры, приезжавшие за пополнением. Посредине стояла чугунная «буржуйка», в которую дежурный круглые сутки подбрасывал полешки и кусочки угля, раздобытого по дороге. Оправа и слева двухярусные нары. Там нашлось местечко для нас с Георгием Павловым, поэтом и прозаиком, пришедшим в наш край с Пятой Армией, разгромившей колчаковцев. Мы были делегатами, отправившимися с подарками воинам (На фронте в часы затишья мы вели записи бесед с командирами и бойцами). Из этих записей у меня по возвращении домой составилась небольшая книга «Наши земляки» (Новосибиск, 1944). Позднее часть очерков была перепечатана в сборнике «Сибирская добровольческая» (Новосибирск, 1950). Георгий Павлов, простудившийся в блиндажах, скончался тем же летом, не успев опубликовать своих записей.

На фронте у нас не было постоянного пристанища. Мы переходили из одного подразделения в другое. Ночевали в землянках то одного, то второго, то третьего полка. Впрочем, название «землянка» там, в болотистых местах, было условным.

Как-то вода залила даже командный пункт дивизии, штабисты перебрались в палатку. Чаще всего жильем служили приземистые избушки, срубленные из бревен. Под полом, усланным еловым лапником, хлюпала весенняя вода.

Однажды мы ночевали у артиллеристов. У них землянка была на лесном бугорке, углубленная в почву до оконышка. Нары из мелких еловых кругляшей. Стол перед оконышком, в котором стеклянную раму заменяли пустые поллитровки, плотно составленные в два ряда. Печка из пустой бензинной бочки. Светильник из орудийной гильзы, расплющенной: вверху. Чарки из медных снарядных колпачков. Нам подарили по две чарки, пунктирно выбив зубилом по окружности: «На память от фронта».

Командиром артиллерийского полка был майор Гуменный, замполитом — майор Микута, до войны первый секретарь Центрального райкома в Новосибирске. Начались взаимные расспросы. Микута вспомнил писателей, находившихся у него на партийное учете. Кто еще дома, кто уже на фронте? Какие книги вышли? И вдруг спохватился:

— Да, наши артиллеристы прочитали ваш роман «На-гора».

— Где вам удалось достать? И сколько экземпляров?

— Единственный. И тот подобрали на развалинах Великих Лук.

— Читать бойцам совсем нечего, — пожаловался Гуменный.

— А мы разделили по листам, — продолжал Микута. — Раздали на батареях. Одни прочитали — передали другим.

— Вот здорово! — обрадовался я редкостному сообщению. — И сколько же у меня читателей?

— А весь полк! — сказал Гуменный и по телефону распорядился. — соберите роман Коптелова и доложите, сколько человек прочитали.

Пока мы ужинали, явился молоденький сержант и, вручая командиру, пухлую пачку книжных листов, отрапортовал:

— Товарищ майор, прочитал весь полк!

— Не веришь? — улыбнулся Микута. — Пойдем с тобой по батареям — спрашивай любого. Ручаюсь — подтвердят.

Такие читатели в боевой обстановке — дороже всего. Дивизия в то время стояла на передовом рубеже. Бойцы читали роман под пулеметные очереди, время от времени доносившиеся с переднего края.

Пухлая пачка типографских листов пошла рукам. На многих из них оставались следы пальцев, еще пахнувших порохом.

Такая встреча с книгой дороже читательских конференций мирного времени.

Пришла счастливая пора составлять собрание сочинений (1978–1982). Мне было жаль расставаться с реалистическими главами романа о Кузбассе, — это же целая полоса моей жизни, — но я не мог включить в свое собрание роман «На-гора». Время мне, как писателю, дало поучительный урок на будущее.

* * *

Во время одной из поездок в Барнаул я встретился на улице с писателем и мастером художественного чтения Магалифом. Юрий Михайлович в то лето выступал там с концертами. В его насыщенных программах были стихи многих поэтов страны. Но с особым проникновением и чувством он читал Пушкина и Есенина. Бархатистый голос ленинградца, ставшего волею судеб приемным сыном Сибири, по радиовыступлениям знал весь край. Он читал стихи многих сибиряков, отдавая предпочтение алтайскому лирику Илье Мухачеву. Тут же на улице мы разговорились об исторических достопримечательностях Барнаула, о Демидовском Столбе, воздвигнутой в честь столетия горного дела на Алтае и, естественно, о демидовских премиях, которыми удостаивали выдающихся людей края, и гость города вдруг, не скрывая крайней взволнованности, спросил:

— А вы давно были на здешнем кладбище?

— А что там вы приметили?

— Теперь там и примечать-то нечего. Посмотрите сами. — И, не удержавшись, Юрий Михайлович добавил. — Там перед главным павильоном черная коза доедает последний куст сирени!

— Какой павильон?! Где?! Вы что-то путаете.

— Вон на горе. Над городом. Там, видите ли, устраивают выставки достижений народного хозяйства: лучшего места, оказывается, не нашли.

— Да где же там?! Там не было ни метра свободного места.

— А, как говорится, над вечным покоем! На костях усопших!

… Барнаульское кладбище и его редчайшие окрестности я знал с 1921 года, когда, будучи участником первых губернских курсов красных учителей, жил по соседству на бывших купеческих дачах, превращенных в студенческие общежития. По пути в центр города я много раз отдыхал на кладбищенских скамейках в тени вековых берез заботливо ухоженных кустов сирени. Изумительное место, редкостное по красоте природы. Представьте себе величественную излучину Оби. На ее правом берегу на десятки километров раскинулась луговина с бесчисленными озерами и зарослями тальника. А левый берег —

высоченный, как бы обрубленный сказочным мечом. Наверху — вековой сосновый бор. Сосны как бы двигались к речке Барнаулке (там был когда-то аул казаха Барная), едва приметной под таким же отвесным обрывом. Вот на этом-то мысу первые землепроходцы и выбрали место для вечного упокоения. Лучшего места, по-моему, нет во всей Сибири. И по художественному богатству надгробий нет во всем крае ничего равного. И это не случайно. Если губернский Томск навеличивали «Сибирскими Афинами», то Барнаул, центр Алтайского горного округа, вотчины царя, считался промышленным и техническим городом. Это здесь в далеком 1765 году теплотехник Иван Иванович Ползунов изобрел и построил первую в России паровую машину для заводских нужд. Здесь плавили медь и серебро. В пределах этого округа чеканили особую сибирскую монету. И в этом же крае искусные гранильщики создали изумительную «чудо-вазу», восхищающую посетителей Эрмитажа. Здесь останавливались для своих исследований Гумбольдт и Паллас. Здесь развивалась техническая мысль. И под редкостными по красоте надгробиями, зачастую изготовленными из драгоценной яшмы и порфира, покоились известные ученые, прославленные инженеры Алтайского горного округа. И, конечно же, богатые купцы, заранее сговорившиеся со знаменитыми камнерезами.

Каким это кладбище виделось из города в двадцатых годах? Высоко на мысу кладбищенская церковь. К ней вела деревянная лестница с площадками для отдыха. Недалеко от паперти среди кустов сирени покоился известный краевед доктор Фридрих Геблер (1782–1850), имя которого присвоено главному катунскому леднику на Белухе. Рядом была похоронена Александр Степановна Зубарева-Геблер, пережившая мужа в великом горе лишь на один день. Тут же был похоронен известный краевед, собиратель русских былин и исторических песен, бытовавших в окрестностях Барнаула, Степан Гуляев. Гранитное надгробие было увенчано каменным глобусом и раскрытой каменной книгой. Но особую ценность представляло редкостное надгробие Николая Михайловича Ядринцева, поэта, публициста, путешественника, именем которого назван ледник на Алтае. Он скончался в Барнауле в 1894 году. Первоначально на его могиле рядом с церковью был поставлен деревянный крест. А в 1900 году на средства, собранные по подписке, соорудили памятное надгробие. Оно состояло из массивного мраморного четырехугольника, накрытого шлифованной плитой. С восточной стороны к нему примыкала высокая стела с бронзовым бюстом отлитым скульптором К.М. Сибиряковым. По бокам четырехугольника были выгравированы названия книг Николая

Михайловича, а на оборотной стороне стелы заветная строфа:

Желал бы я, чтоб в недра дорогие
Мой прах ты приняла, родимая земля!
Лежать в чужой стране, где люди все чужие,
Где чуждые кругом раскинуты поля,
Я не могу!..

Все было выполнено с особой любовью и почитанием сына необъятной Сибири.

И вот я снова стою перед высоким нагорьем. Как изменилось оно!

Исчезла, словно невиданная буря низвергла ее, кладбищенская церковь. На первый взгляд, это не удивляет.

Ведь ниспровергатели не пощадили ни монастырь в бору, ни собор, колокольня которого напоминала кремлевскую колокольню Ивана Великого. Исчезла лестница. Исчезли вековые березы, и нагорье напоминало голову, остриженную под машинку. Подымаюсь по извилистой тропинке и останавливаюсь, пораженный пустотой. Ни единого надгробья. Ни единого деревца. Голая равнина. Лишь в отдалении виднелся павильон «достижений народного хозяйства». Правду сказал Ю.М. Магалиф: черная коза догрызала последней куст сирени!

И только там, где стояла церковь, сохранились руины единственного надгробия. Там-то и погребен Н.М. Ядринцев, выдающийся патриот Сибири. Что осталось от надгробия? Тяжеленный четырехугольник да примкнутая к нему стела. Исчезла верхняя шлифованная плита.

Укором торчит согнутый железный штырь, с которого с разрушительной силой сдирали бронзовый бюст! Редчайшее варварство? Обидное и непростительное?

Прямо с кладбища я, потрясенный кощунством, отправился в крайком партии. Секретарем по идеологии тогда был москвич Лебедев.

— Да неужели все это правда?! — От удивления он даже привстал с кресла. — Для меня потрясающая новость! На выставке-то я бывал, а такого не заметил. Просто не знал. Примем меры.

На следующий день о современных руинах я рассказал Михаилу Афанасьевичу Лисавенко, который возглавлял созданный им Институт сибирского садоводства. Он пришел в крайнее возмущение. Во время нашего разговора в его кабинет по какому-то неотложному хозяйственному делу вошел бородатый здоровяк в брезентовом плаще и в ожидании конца нашего

разговора присел на стул и разулыбался: чему, дескать, они удивляются!

— Ну кто же, кто посмел разрушить кладбище? — продолжал я. — У кого поднялась рука?

— А что особенного? — вдруг вступил в разговор здоровяк в плаще. — Это сделал я? Выполнил все, что было приказано. Осталась маленькая недоделка. У нас ведь техники в то время не было. И тот памятник нечем было взять. А все остальное мы спустили вниз, как было по плану. Пустили в дробилку. И сделали лестницы на меланжевом комбинате. Там была еще верхняя плита. Уж больно гладкая. Жаль было в дробилку-то. Отдали на конфетную фабрику. Говорят, на ней больно хорошо конфеты раскатывать.

— А бюст куда?

— Голова, там была бронзовая, — пояснил Лисавенко.

— А-а, тот, бородатый, — продолжал здоровяк. — Не то поп, не то еще кто, — нам ведь ни к чему. Уж больно крепко был приделан: три мужика едва отворотили. Выполнили все, что могли.

В тот же день жители Заречья видели как две черные машины взлетели по Змеиногогорскому взвозу и повернули к нагорью, где было старое кладбище. На одной ехал первый секретарь крайкома Беляев, на другой — председатель крайисполкома Пысин. Они спешили убедиться в том, что «натворили» их предшественники.

А я — снова к Лебедеву. Чтобы убедиться в исчезновении верхней плиты надгробия, он сразу же позвонил на фабрику. Конфетчики подтвердили, что уж больно хорошо на ней раскатывать конфеты.

— Немедленно вернуть!

— А как же производство? — пищала трубка. — План сорвется…

— На бюро ответите. Думаю, получите строгача.

— А куда вернуть? — недоумевал директор фабрики. — Там же расписаться некому.

— Восстановим! — заверил меня секретарь крайкома. — Сделаем все, как было. Только с бюстом будет труднее. Но снимки-то в музее должны сохраниться. Закажем снова скульптору.

К чести барнаульцев, они восстановили памятник, поставили изящную оградку, посадили цветы. А кругом — пустота.

И стоит памятник укором за содеянное невеждами.

Варварское «поветрие», разрушительным смерчем пронеслось по другим городам Сибири. Не избегли этой беды и Томск — «Сибирские Афины», где кладбище, пожалуй, не уступало

барнаульскому. Только каким-то чудом уцелела могила Г.Н. Потанина.

Пронесся дикий смерч и по Новосибирску: на костях первых засельщиков бездумно танцуют молодые невежды. Отвели для кладбища соседнюю березовую рощу, а в тридцатых годах, сравняв могилы, проложили по костям усопших трамвайную линию. Так была утрачена могила писателя Петра Стрижкова.

В те годы полного отсутствия гласности никто не возразил против ликований по случаю еще одной победы в градостроительстве. И «отцам города» было невдомек, что дикие смерчи, пронесшиеся по кладбищам, ранили сердца тех, кто умеет свято хранить память об усопших, чьими трудами создан и взлелеян город на Оби.